Игра в марблс

Автор:
Сесилия Ахерн

Игра в марблс

Сесилия Ахерн

Как быть, если у вас всего один день, чтобы понять, кто вы на самом деле?

Обнаружив загадочную коллекцию своего отца, Сабрина внезапно осознает: все, что она знала о нем, было ложью. Близкий человек, рядом с которым она росла, вдруг оказался незнакомцем.

Ей выдался свободный день – нежданная передышка в унылой череде ее будней, – чтобы проникнуть в тайную жизнь отца. Целый день воспоминаний, историй и людей, о существовании которых она даже не подозревала. Один день, который навсегда изменит саму Сабрину и привычный ей мир.

«Игра в марблс» – роман о том, как самые обычные наши решения иногда приводят к невероятным последствиям, о том, как, только поняв кого-то другого, мы по-настоящему понимаем самих себя.

Сесилия Ахерн

Игра в марблс

© 2015 Cecelia Ahern

© Л. Сумм, перевод на русский язык, 2015

© ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2016

* * *

Я видел ангела в куске мрамора и отсекал все лишнее, пока не освободил его.

Микеланджело

Мои воспоминания можно разделить на три категории: то, что я хочу забыть, то, что забыть не могу, и то, о чем я не помнила даже, что забыла, а потом вспомнила.

Самое первое воспоминание – о маме, когда мне было три года. Мы в кухне, она берет заварочный чайник и бросает его в потолок. Она взяла его обеими руками, за ручку и за носик, и швырнула вверх, словно на состязании по метанию снопов, и чайник ударился о потолок и рухнул обратно на стол, разбился вдребезги, во все стороны разлетелись мокрые лопнувшие пакеты, потекла коричневая водица. Не помню, что спровоцировало этот поступок или что было потом, но знаю, что он был вызван гневом, а гнев был вызван моим отцом. Это воспоминание плохо отражает мамин характер, представляя ее в невыгодном свете. Насколько я знаю, она никогда больше не поступала подобным образом, потому-то, наверное, тот случай и врезался мне в память.

Когда мне было шесть, мою тетю Анну остановили на выходе из «Свицерса». Волосатая рука охранника скользнула в ее сумку и вытянула шарф, с ценником и штрихкодом. Что было после, я не помню, помню только, как тетя Анна закармливала меня мороженым в Айлак-центре и смотрела с надеждой, как я его уплетаю, будто с каждой ложкой сладкого тают впечатления о неприятном инциденте. Но я сохранила живейшее воспоминание, хотя и тогда, и поныне всем кажется, будто я это выдумала.

Я хожу к дантисту, которого знаю с детства. Дружить мы не дружили, но крутились в одной компании. Теперь это солидный человек, щепетильный и строгий. Но когда он зависает над моим раскрытым ртом, я вижу пятнадцатилетнего подростка, обливающего мочой стены гостиной, где собралась наша тусовка: он орал, что Иисус – глава всех анархистов.

Встречаясь с нашей учительницей младших классов, тихоней, чьи слова мы даже на передних партах различали с трудом, я так и вижу, как она швыряет бананом в классного заводилу и орет: «Оставь меня в покое, бога ради, оставь меня в покое», – и, рыдая, выбегает из класса. Недавно, случайно повстречав одноклассницу, я припомнила этот эпизод – а она его напрочь забыла.

Мне кажется, когда я думаю о ком-то, кого не так часто вспоминаю, то на ум приходят именно самые драматические моменты или такие ситуации, в которых обнаруживалась та сторона, которую человек обычно скрывает.

Мама говорит, таков мой дар: помнить то, что другие забыли. Порой это проклятие, никто не радуется, если вновь выкапывают то, что хотелось зарыть поглубже. Меня можно сравнить с человеком, который во всех подробностях помнит пьяную ночку, а все его собутыльники только о том и мечтают, чтобы он не болтал.

Полагаю, такие сцены остаются в моей памяти, потому что сама я никогда так себя не вела. Не могу припомнить ни единого случая, когда я нарушила бы правила, когда из меня вылез бы другой человек, которого мне пришлось бы вытеснять из памяти. Я всегда верна себе. Стоит вам познакомиться со мной, и вы уже все обо мне знаете, больше во мне ничего нет. Я следую правилам, остаюсь самой собой и, видимо, не могу быть никем другим, даже в моменты величайшего стресса, когда срыв – или прорыв иной личности – был бы извинителен. Наверное, именно поэтому меня завораживает такая способность в других и я навсегда запоминаю те минуты, которые они предпочли бы забыть.

Говорят, что в эти мгновения человек перестает быть собой, но нет, я глубоко убеждена, что даже такие резкие перемены полностью соответствуют природе человека. Эта оборотная сторона тоже всегда присутствует, она затаилась, ждет момента, чтобы проявиться. В каждом человеке, в том числе и во мне.

1

Камрады

– Фергюс Боггс!

Только эти два слова я и разбирал в гневной проповеди отца Мерфи, да и то потому, что эти два слова – мое имя, а все остальное было по-ирландски. Мне пять лет, в страну я попал всего месяц назад. Мама переехала сюда из Шотландии со всеми нами после смерти папочки. Все случилось так быстро, папа умер, мы переехали, и, хотя я бывал в Ирландии прежде, в летние каникулы, чтобы повидать бабушку, дедушку, дядю, тетю и всех двоюродных, сейчас все по-другому: я никогда не видел эту страну в другое время года, и кажется, будто это другая страна. Каждый день с тех пор, как мы приехали, идет дождь. Магазинчик с мороженым закрыт, заколочен, как будто и не бывал никогда открыт, как будто я сам все выдумал. И пляж, куда мы все время ходили, кажется совсем другим, а щеповоз уехал. И люди совсем другие – темные, закутанные.

Отец Мерфи нависает над моей партой – высокий, широкий, серый. Он орет на меня, изо рта у него вылетает слюна, плевок попадает мне на щеку, но я не смею стереть его, чтобы не обозлить учителя еще пуще. Оглянулся на других мальчиков, как они к этому отнеслись, но тут он ударил меня. Влепил пощечину. Больно. У него на пальце кольцо, большое, и оно, кажется, порезало мне щеку, но я снова не решаюсь поднять руку и потрогать, а то вдруг он опять меня ударит. И мне понадобилось в туалет, очень срочно. Меня и раньше, бывало, кто-нибудь бил, но священник – никогда.

Он орет на меня, злобно, по-ирландски. Возмущается, что я не понимаю. Между ирландскими словами он вставляет изредка английские – требует, чтобы я научился понимать, давно пора. Но у меня не получается: дома никакой тренировки. Мама все время грустит, и я не хочу к ней приставать. Она предпочитает сидеть и обниматься, и я это тоже люблю. И когда я сижу у нее на коленях, мне совсем не хочется все портить болтовней. Да и вряд ли она помнит ирландские слова. Она давно уехала из Ирландии, служила няней в шотландской семье, а потом познакомилась с папочкой. Там никто не говорил по-ирландски.

Священник требует, чтобы я повторял за ним слова, но я едва дышу и не могу вытолкнуть слова изо рта.

– Tame, tat?, tase, tas?…

– ГРОМЧЕ!

– Tamuid, ta sibh, ta siad.

Когда он перестает орать, в классе становится так тихо, что я вспоминаю: в классе полным-полно мальчиков, моих ровесников, все слушают, как я, заикаясь, повторяю за ним слова, и он говорит всем, какой я идиот. Меня начинает трясти. Мне плохо. Срочно нужно в туалет. Я говорю ему. Его лицо багровеет, он достает кожаный ремешок. Он хлещет меня по рукам этим ремешком – позже ребята мне скажут, что между слоями кожи вшиты монеты. Он сулит мне по шесть «горячих» – шесть раз по каждой руке. Боль нестерпимая. Мне нужно в туалет. И вот это случилось прямо тут, в классе. Я боялся, что мальчики будут смеяться, но никто не смеется. Все смотрят в стол. Может быть, потом посмеются между собой, а может быть, все поймут. Или просто рады хоть тому, что это происходит не с ними. Мне стыдно, мне ужасно позорно, и так, он говорит, и должно быть. Он потащил меня из класса за ухо, тоже очень больно, потащил прочь от ребят, по коридору, втолкнул в темную комнату. Дверь захлопнулась, я остался один.

Я не люблю темноту. Никогда не любил. Я плачу. Штаны мокрые, моча протекла в носки и ботинки, и я не знаю, как быть. Обычно меня переодевает мама. Что мне тут делать? Окон в этой комнате нет, ничего не видно. Хоть бы он не очень долго продержал меня тут. Глаза привыкают к темноте, я начинаю кое-что различать в пробивающемся из-под двери свете. Я сижу в кладовке. Вижу лестницу, ведро и щетку без палки – одну только щетину. Пахнет сыростью. Старый велосипед висит вверх ногами, цепи у него нет. Стоят два сапога, от разных пар и оба на одну ногу. Здесь все непарное, все друг другу чужое. Зачем он меня здесь запер и когда выпустит? Мамочка спохватится и будет меня искать?

Прошла вечность. Я закрыл глаза и стал потихоньку петь. Те песни, которые поет со мной мама. Громко я петь боялся, а то он придет и решит, что мне тут весело. Тогда он еще больше обозлится. Они сердятся, если кто-нибудь из мальчиков радуется, смеется. Наше призвание – подчиняться и угождать. Не тому учил меня папа. Он говорил, я настоящий вожак, я стану кем угодно, кем только захочу. Я ходил с ним на охоту, он всему меня научил и даже пускал вперед, говорил, я – вожак. Он пел об этом песню: «Мы идем за вожаком, за вожаком, за вожаком, Фергюс наш вожак, да-да-да». Теперь я напеваю ее себе, но только мелодию, без слов. Священнику не понравится, если я стану петь

«…я вожак». Нам тут не разрешают быть кем мы хотим, мы должны стать тем, кем они велят. Я пою песни, которые пел мой отец, когда мне разрешали засиживаться допоздна и слушать, как поют взрослые. У папы был мягкий голос, хотя он сам был большой и сильный, и порой он даже плакал, когда пел. Он не говорил, будто плачут только младенцы, как говорит священник, он говорил, все люди плачут, когда им грустно. И теперь я пою себе и стараюсь удержаться от слез.

Вдруг дверь распахнулась, я съежился в углу, думая, что это он вернулся с кожаным своим ремнем. Но это не он, а другой, помоложе, который учит нас музыке, глаза у него добрые. Он прикрыл за собой дверь и опустился на корточки.

– Привет, Фергюс.

Я попытался ответить, но не сумел выдавить из себя ни звука.

– Я тебе кое-что принес. Коробку кровяников.

Я дернулся, но он уже протягивал руку.

– Не бойся, это шарики. Ты играешь в марблс?

Я покачал головой. Он раскрыл руку, и я увидел их у него на ладони, они переливались красным, словно четыре драгоценных рубина.

– Я очень любил их, когда был ребенком, – негромко сказал он. – Мне подарил их дед. «Коробка кровяников, – сказал он мне. – Специально для тебя». Коробка пропала. Жаль, вместе с коробкой они стоили бы дороже. Всегда сохраняй упаковку, Фергюс, вот тебе мой совет. Зато шарики остались.

Кто-то прошел в коридоре, мы слышали топот, и доски пола скрипели и содрогались. Молодой учитель оглянулся на дверь. Когда шаги миновали, он обернулся ко мне и заговорил еще тише:

– Научись пулять ими. Щелкаешь вот так.

Он уперся костяшками пальцев в пол, согнутым указательным пальцем придерживая шарик. Отвел назад большой палец и легонько подтолкнул – шарик проворно покатился по деревянному полу. Красный кровяник, красный и дерзкий, ловил каждую искорку света, блестел и переливался. Он замер у моих ног. Я боялся поднять его. К тому же ладони все еще болели от ударов ремнем, пальцы не сожмешь. Он глянул на мои руки, и его передернуло.

– Давай попробуй, – сказал он.

Я попробовал – поначалу не очень удачно, потому что не мог согнуть пальцы, как это делал он, но в целом я понял. Потом он показал мне другие способы запускать шарик. Можно бить по нему костяшками. Этот способ мне понравился больше. Он сказал, что так сложнее, но что у меня лучше всего так получается. Я даже губу прикусил, чтоб не разулыбаться.

– В разных местах шарики называют по-разному, – продолжал он, снова опускаясь на пол и показывая мне приемы. – Шарики, битки, ушки, но мы с братьями называли их «камрады».

Камрады – это годится. Хотя я заперт тут один, в темной комнате, у меня есть товарищи-камрады. Как у солдата. Как у военнопленного.

Он очень серьезно посмотрел на меня:

– Будешь целиться, не своди глаз с мишени. Глаз управляет мозгом, мозг управляет рукой. Не забывай. Всегда следи за мишенью, Фергюс, и твой мозг сделает все правильно.

Я кивнул.

Зазвенел колокол, урок закончен.

– Хорошо, – сказал он, вставая, отряхивая рясу от пыли. – Сейчас у меня будет урок. А ты не беспокойся: надолго тебя здесь оставить не могут.

Я снова кивнул.

Конечно, он был прав: надолго меня оставить не должны были, и все же отец Мерфи не торопился меня выпускать. Я просидел в кладовке весь день и даже еще раз намочил штаны, пока ждал, потому что боялся кого-нибудь позвать, но мне было уже все равно: я солдат, я военнопленный и это мои камрады. Я отрабатывал приемы в этой тесной кладовке, в моем маленьком мире, я хотел всех одноклассников превзойти меткостью. Я им всем покажу, как играть, и всегда буду играть лучше всех.

В следующий раз, когда отец Мерфи запер меня в кладовке, шарики были при мне в кармане, и я снова провел день, тренируясь. У меня там уже была мишень, я сам ее спрятал туда на перемене, про запас. Это была картонка с семью прорезанными в ней арками – я сделал ее сам из пустой коробки из-под корнфлекса, которую вытащил из помойки миссис Линч, после того как увидел у других мальчиков покупную. На центральной лунке ставится цифра 0, на соседних с ней, с каждой стороны, 1, 2, 3. Я прислонил мишень к дальней стене и бросал шарики издали, от самой двери. Я еще не знал правил, да и невозможно играть в одиночку, но я отрабатывал удары, чтобы наконец в чем-то превзойти старших братьев.

Тот добрый священник не задержался у нас в школе. Говорили, что он целовался с женщиной и что он попадет в ад, но мне наплевать. Он подарил мне мои первые шарики, моих кровяников. В темную пору моей жизни благодаря ему я обрел камрадов.

2

Не бегать

Дыши.

Иногда приходится себе об этом написать. Казалось бы, дыхание – врожденный инстинкт любого человека, но нет, я вдыхаю и забываю выдохнуть, и все тело напрягается, деревенеет, сердце стучит, грудь распирает, а встревоженный мозг пытается сообразить, что же пошло не так.

Теоретически я все про дыхание знаю. Втягиваешь воздух носом, он спускается почти что в живот, до диафрагмы. Дыши спокойно. Дыши ровно. Дыши тихо. Мы все умеем это делать с момента рождения, и нас этому никто не учит. А меня следовало бы научить. За рулем, в магазине, на работе, я вдруг замечаю, что опять затаила дыхание и с тревогой жду, а чего жду – сама не знаю. Чего бы я ни ждала, оно так и не сбывается. Самое смешное: я не справляюсь на суше с таким простым делом, притом что профессионально обязана выполнять его в воде – я спасатель. Плаваю я легко и естественно, в воде чувствую себя совершенно свободно, она не подвергает меня проверке. В воде все зависит от ритма. На суше и вдох и выдох происходят на счет «раз», а в воде – на «раз-два-три», я успеваю сделать три гребка между вдохами. Запросто. Даже думать об этом не приходится.

Учиться дышать на суше мне пришлось во время первой беременности. Это понадобится в родах, предупреждала меня акушерка, и была права. Акт деторождения столь же естествен, как дыхание, вот только для меня дыхание не так уж естественно. Как только я оказываюсь на суше, мне хочется затаить дыхание. Но ребенка не вытолкнешь, если будешь сдерживать выдох. Уж поверьте, на себе убедилась. Зная мое пристрастие к воде, муж договорился о родах в бассейне – казалось бы, отличная идея, рожать в своей стихии, дома, в воде, вот только ничего естественного нет в том, чтобы торчать в огромной надувной ванне посреди собственной гостиной, к тому же в итоге под водой должен был оказаться ребенок, а вовсе не я. Я бы охотно поменялась с ним местами. Кончилось это тем, что меня на «скорой» увезли в больницу и сделали кесарево, и следующие два младенца явились на свет тем же путем, только без такой поспешности. По-видимому, морское создание, с пяти лет предпочитавшее не вылезать из воды, с самыми естественными актами жизни справиться не могло.

Итак, я состою спасателем в бассейне, в доме престарелых. В доме престарелых весьма высокого класса, что-то вроде четырехзвездочного отеля с круглосуточным обслуживанием. Я проработала здесь уже семь лет, прерываясь только на декретный отпуск. Пять дней в неделю с девяти утра до двух часов дня я сижу на стуле и смотрю, как пациенты по три в час входят в бассейн и плавают от бортика до бортика. Однообразно, стабильно, стерильно, скучно. Никогда ничего не происходит. Из раздевалки выходят тела, двуногие свидетельства быстротечного времени: кожа обвисла, и груди, и попы, и бедра, у кого-то кожа сухая и шелушится от диабета, у кого-то от почечной или печеночной недостаточности. У тех, кто почти не встает с постели или с коляски, виднеются болезненные вмятины, ранки и пролежни, а другие, словно

юбилейную медаль прожитых лет, несут свои крупные коричневые родинки. То и дело на этих телах появляются, меняют свой вид наросты. Я вижу их всех и отчетливо себе представляю, во что с годами превратится мое тело, выносившее троих детей. Я должна оставаться на посту, даже когда физиотерапевт делает водный массаж, – наверное, на случай, если под воду уйдет сам физиотерапевт.

За семь лет мне практически не случалось нырнуть в этот бассейн. Тут всегда спокойно и тихо, не то что в городском бассейне, куда я вожу своих мальчиков по субботам и откуда выхожу всегда с головной болью: заполонив чашу бассейна до краев, детские группы орут и визжат, и эхо отражается от воды.

Глянув на первого сегодняшнего пловца, я с трудом подавила зевок. Мэри Келли, «землечерпалка», плывет своим любимым стилем – брассом. Медленно и шумно туша длиной полтора метра и весом полтора центнера выбрасывает воду в стороны, словно желая осушить бассейн, а затем пытается скользнуть вперед. Она проделывает этот маневр, не касаясь лицом воды, и пыхтит изо всех сил, словно на морозе. У каждого пациента свое раз и навсегда установленное время. Скоро явится мистер Дейли, а за ним мистер Кеннеди, он же король баттерфляя, воображает себя экспертом по плаванию, затем сестры Элайза и Одри Джонс, которые будут свои двадцать минут скакать по тому краю бассейна, где мелко. Там же, на мелком конце, зависнет и не умеющий плавать Тони Дорман, будет цепляться за плотик так, словно свалился с тонущего корабля, и жаться поближе к ступенькам, поближе к стенке бассейна. Я пока что вожусь с очками, развязываю запутавшуюся резинку и напоминаю себе дышать, разгонять то стеснение в груди, которое уходит лишь тогда, когда я вспоминаю о необходимости сделать выдох.

Мистер Дейли выходит из раздевалки на дорожку ровно в 9:15. Плавки-яйценоски нахального голубого цвета, когда намокают, обтягивают и предъявляют каждую подробность. Кожа мешками висит у него под глазами, опустились щеки, болтаются складки пониже челюстей. Настолько прозрачная кожа, что я различаю в его теле чуть ли не каждую жилку. Должно быть, самый слабый удар оставляет на его теле синяки. Желтые ногти на пальцах ног загибаются, болезненно впиваясь в кожу. Он мрачно глянул на меня и, поправив очки, прошаркал мимо, как всегда, каждое утро, не здороваясь, цепляясь за металлические перила, словно опасаясь поскользнуться на мокрой плитке, которую Мэри Келли каждым своим гребком забрызгивает еще сильнее. На миг я представляю себе, как он рушится на плитку, кости прорывают бумажную

прозрачную кожу, кожа трещит, словно у цыпленка-гриль.

Одним глазом я присматриваю за ним, другим за Мэри, которая с каждым гребком испускает громкое уханье, прямо Мария Шарапова. Мистер Дейли добрался до ступенек, ухватился за ограждение и медленно погружается в воду. Почуяв прохладу, его ноздри раздуваются. Погрузившись в воду, он оглядывается: смотрю ли я. В те дни, когда я смотрю прямо на него, он ложится на спину и долго плавает так, словно дохлая золотая рыбка. Если же я, как сегодня, отворачиваюсь, он погружается под воду с головой, цепляясь руками за бортик, чтобы удержаться на дне. Я прекрасно его вижу: стоит на коленях в неглубокой воде и пытается утопиться. И так изо дня в день.

– Сабрина! – окликает меня мой начальник Эрик из служебного помещения.

– Я вижу.

Я добираюсь до мистера Дейли, который приткнулся у самой лестницы. Наклонившись, подхватываю его под руки и тащу наверх. Он очень легкий, я выдергиваю его без труда, – ловит ртом воздух, глаза за пластиком очков вытаращены, здоровенная зеленая сопля пузырится в правой ноздре. Он содрал с лица очки, вылил из них воду, пыхтя, ворча, дрожа всем телом от злости: опять я порушила его коварный план. Лицо его успело побагроветь, грудь так и вздымается, пока он пытается выровнять дыхание. В точности мой сын-трехлетка: тот вечно прячется в одном месте и обижается, зачем я так быстро его нашла. Я, ничего не говоря, вернулась к своему стулу, холодная вода хлюпала в резиновых тапочках. Каждый день одно и то же. И больше ничего.

– Не очень-то ты спешила, – заметил Эрик.

– Правда? Может, на секунду дольше обычного задержалась. Не хотела портить ему игру.

Эрик улыбнулся, хотя и понимал, что это неправильно, и в знак неодобрения покачал головой. Он работает здесь вместе со мной с тех пор, как открылся этот дом престарелых, а раньше работал спасателем в Майами, словно герой сериала. Его мать собиралась умирать и вызвала его в Ирландию, а затем передумала и осталась жить, и он остался с ней. Он пошучивает – мол, она еще его переживет, – но я вижу, он боится, как бы так на самом деле не вышло.

Мне кажется, он ждет, когда же она умрет и даст ему свободу, но ему уже скоро пятьдесят, так что может и не дождаться, вот что его пугает. Чтобы как-то компенсировать отказ от настоящей своей жизни, он, похоже, притворяется, будто все еще работает в Майами, и, хотя это явный бред, порой я завидую его способности переноситься в гораздо более экзотическое место, чем это. По-моему, он так и ходит, прислушиваясь к ритму маракаса у себя в голове, и оттого счастлив – блаженнее человека я не видала. Волосы у него оранжевые, как солнце, и почти такого же цвета кожа. Год напролет он обходится без «свиданий», копит все силы до января, когда улетает в Таиланд. Возвращается, насвистывая, с улыбкой от уха до уха. Я знать не хочу, что он там проделывает, но догадываюсь о его мечте: когда матушка скончается, все его месяцы будут как январь в Тае. Эрик мне нравится, я считаю его своим другом. Мы проводим бок о бок пять дней в неделю, так что я успеваю рассказать ему больше, чем даже себе самой.

– Не странно ли, что единственный человек, кого мне каждый день приходится спасать, как раз хочет умереть? Не делает ли это нашу работу совершенно бессмысленной?

– Много причин считать ее бессмысленной, только не эта. – Он наклонился, чтобы вычистить из стока комок седых волос, точь-в-точь захлебнувшаяся крыса, и спокойно держит эту гадость в руках, выжимает, вовсе не чувствуя того отвращения, что охватило меня. – Ты ощущаешь себя здесь лишней?

Да. Конечно, я не права. Не важно, что человек, которого я спасаю, не хочет жить, важно, что я спасаю жизнь. Ведь так? Но я молчу. Эрик – мой начальник, а не мой психотерапевт. Неприлично спасателю на рабочем месте задаваться вопросом, стоит ли кого-то спасать. Пусть Эрик и живет в своем воображаемом мире, но он отнюдь не дурак.

– Пора тебе передохнуть и выпить кофе, – говорит он, суя мне в руки кружку, а другой рукой он все еще держит утонувшую крысу, седые волосы с чужого лобка.

Я очень люблю свою работу, но в последнее время что-то стала раздражаться. Не знаю, чего я ждала от своей жизни, на что надеялась. Каких-то конкретных желаний или целей у меня нет. Я хотела выйти замуж – и вышла. Хотела детей – и родила. Хотела стать спасателем – и стала. Почему же мне все время кажется, будто по мне бегают мурашки? Бегают муравьи, которых на самом деле нет.

– Эрик, что значит «мурашки бегают»?

– Хм. Ну, что человеку не по себе.

– С муравьями как-то связано?

Он хмурится.

– Я подумала, когда тебе кажется, будто по тебе ползают муравьи, тогда и начинаются мурашки. – Я слегка вздрагиваю. – И при этом никаких муравьев вовсе нет.

Он постучал пальцем по губе:

– Знаешь, понятия не имею. Это для тебя важно?

Я призадумалась. Из этого следует, что, раз мне кажется, что в жизни что-то не сложилось, значит, либо в самом деле с жизнью что-то не так или со мной. Но ведь это всего лишь ощущение, на самом деле все в порядке. Лучше всего ведь так – чтобы все было в порядке.

– Что с тобой случилось, Сабрина? – последнее время Эйдан все время задает мне этот вопрос. Попробуйте все время спрашивать человека, почему он сердится, и он обозлится.

– Ничего не случилось.

Но все-таки «ничего» или все-таки «чего»? Или ничего – все вообще ничего. Не в этом ли проблема? Все превратилось в ничто. Уклоняясь от взгляда Эрика, я утыкаюсь в правила поведения у бассейна, однако и они раздражают, лучше отвернуться. Такие они, мурашки.

– Могу узнать, если тебе надо, – говорит он, все еще приглядываясь ко мне.

Уклоняясь от его взгляда, я ушла в коридор и налила себе кофе из автомата. Я всегда пью из своей кружки, не из пластикового стаканчика. Прислонившись

к стене в коридоре, я мысленно перебираю наш разговор, перебираю свою жизнь. Кофе закончился, а вывода так и нет. Я бреду обратно к бассейну, и в коридоре меня чуть не сшибают с ног два санитара, которые на максимальной скорости гонят каталку, на ней распростерлась мокрая Мэри Келли, белые с синими прожилками ноги смахивают на сыр стильтон, на лице кислородная маска.

– Что за черт! – слышу я собственный голос, когда они проносятся мимо меня.

Вернувшись в маленькое служебное помещение для спасателей, я застала там Эрика: тренировочный костюм насквозь мокрый, рыжие волосы прилипли ко лбу. Явно потрясен до глубины души.

– Что стряслось?

– У нее был – то есть я не знаю в точности, но я думаю, наверное, это инфаркт. Господи! – Вода капала с его заострившегося оранжевого носа.

– Я отошла всего на пять минут.

– Ну конечно. Это случилось в тот самый момент, как ты вышла за дверь. Я нажал тревожную кнопку, вытащил ее, сделал искусственное дыхание, а тут и «скорая». Быстро подоспели. Я впустил их через пожарный въезд.

Я сглотнула, чувствуя, как нарастает во мне зависть.

– Ты сделал ей искусственное дыхание?

– Да. Она перестала дышать. А потом задышала. Стала отплевываться, много вышло воды.

Я глянула на часы:

– Даже пяти минут не прошло!

Он пожал плечами, все такой же ошалелый.

Я посмотрела на бассейн, на висячие часы. Вон и мистер Дейли сидит на бортике и с завистью смотрит вслед унесшейся каталке. Четыре с половиной минуты ровно.

– Тебе пришлось прыгнуть в бассейн? Нырнуть за ней? Сделать искусственное дыхание?

– Ага. Ага. Слушай, Сабрина, не переживай так. Ты бы не смогла ей быстрее помочь.

– И кнопку тревожную нажимал?

Он с недоумением покосился на меня.

Я никогда не нажимала тревожную кнопку. Никогда. Даже на тренировке. Зависть и гнев пузырями рвались наружу, довольно необычное для меня ощущение. Дома бывает частенько, когда мальчики изведут, но на людях – никогда. Я всегда подавляю в себе гнев, тем более на работе, тем более против собственного начальника. Я разумный, сдержанный человек, такие, как я, не срываются на глазах у зрителей. Но на этот раз я не стала подавлять в себе гнев. Пусть вырвется на волю. Это было бы даже круто – дать себе волю, вот только я и в самом деле была страшно разочарована, страшно зла.

Попробуйте себе представить, что я чувствовала. Я проработала в бассейне семь лет. Две тысячи триста десять дней. Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят часов. Вычтем декретные отпуска – девять месяцев, шесть и три. Все это время я сидела на стуле и следила за бассейном, подчас совершенно безлюдным. Никаких тебе отчаянных прыжков за утопающим, уж не говоря об искусственном дыхании. Ничего, ни разу. Только мистер Дейли, да порой приходилось помочь при судороге в икре или стопе. Тупая скука. Сижу на стуле или стою и смотрю на огромные часы над бассейном и перечитываю правила: не бегать, не прыгать, не нырять, не толкаться, не кричать – ничего нельзя. Список запретов, сплошь «не», как будто мне назло. Никого не спасать. Я все время наготове, получила специальную подготовку, но ничего никогда не происходило. И стоило мне выйти за чашкой кофе – и я пропустила вероятный инфаркт, пациентка чуть не утонула, да еще и тревожную кнопку нажали без меня.

– Так нечестно, – сказала я.

– Полно, Сабрина, ты же мгновенно среагировала, когда Элайза порезалась о стекло.

– Это было не стекло. У нее вена лопнула.

– Не важно. Главное – ты сразу подоспела.

На суше мне плохо, мне приходится бороться за каждый вдох. На суше я словно тону.

Я швырнула свою кофейную кружку об стену.

3

«Завоеватель»

Он сдавил мне шею так, что перед глазами поплыли черные пятна. Я бы попросил его остановиться, но слова вымолвить не мог, так он вцепился мне в горло. Не могу дышать. Не могу дышать! Я маловат для своих лет, и меня за это дразнят. Прозвали клопом, но мама говорит: у тебя есть способности, ими и пользуйся. Мал, да умен. Собравшись с силами, я пытаюсь вывернуться, и моему большому братцу приходится постараться, чтобы меня не упустить.

– Черт, клоп! – восклицает Энгюс и сжимает пальцы еще сильнее.

Не могу дышать, не могу дышать.

– Отпусти его, Энгюс, – говорит Хэмиш. – Играй давай.

– Этот мелкий гад – жухла. Я с ним играть не стану.

– Я не жулил! – пытаюсь я крикнуть, но не могу. Не могу дышать.

– Он не жухла, – заступается за меня Хэмиш. – Он круче тебя играет, вот и все.

Хэмиш самый старший, ему шестнадцать. Он следил за игрой, сидя на крыльце нашего дома. Когда он такое говорит, это дорогого стоит. Он очень крутой, он сигарету курит. Знала бы мама, она бы ему голову оторвала, но сейчас ей не видно, она в доме, с акушеркой, потому-то мы и торчим тут день напролет, ждем, когда все закончится.

– Что ты сказал? Повтори! – Энгюс задирает Хэмиша.

– А то что?

А то ничего. Энгюс не полезет на Хэмиша, тот хоть всего двумя годами старше, но круче во сто раз. Никто бы из нас с ним связываться не стал. Он парень резкий, это все знают, он теперь водит компанию с Эдди Салливаном по прозвищу Цирюльник, со всей этой шайкой из парикмахерской. От них и получает сигареты. Мамочка за него переживает, но деньги ей нужны, так что она перестала задавать вопросы. Хэмиш любит меня больше других братьев. Иногда он будит меня ночью, я одеваюсь, и мы пробираемся на улицы, где нам не велено играть. Мамочке ничего говорить нельзя. Мы играем в марблс. Мне десять, а выгляжу я еще младше, никто и не подумает, что я так здорово могу играть, никто не догадывается, и Хэмиш заманивает дурачье. Он прилично выигрывает, а мне на обратном пути дает леденцы, чтобы я помалкивал. Ему нет нужды подкупать меня, но я ему об этом не говорю: леденцы вкусные.

Я даже во сне играю в марблс. Играю, когда должен был бы делать уроки. Играю, когда отец Мордожоп запирает меня в кладовке. Играю у себя в голове, когда мама учиняет мне разнос, играю и ее не слушаю. Пальцы сами собой двигаются все время так, словно я щелкаю шарики, и у меня уже собралась неплохая коллекция. Приходится прятать их от братьев, особенно самые ценные. Они играют гораздо хуже, возьмут мои шарики и проиграют.

Мы слышим, как наверху мама ревет, точно раненый зверь. Энгюс слегка ослабляет зажим у меня на горле. Как раз достаточно, чтобы вывернуться. Все так и замерли, услышав мамин крик. Не впервые мы его слышим, но все равно страшно. Так никто не должен кричать. Открывается дверь, выходит Мэтти белее простыни – бледнее даже, чем обычно.

Глянув на Энгюса, распорядился коротко:

– Отпусти его.

Энгюс послушался, и я наконец смог вздохнуть. Закашлялся. Кроме Хэмиша, Энгюс еще только с одним человеком предпочитает не связываться – с нашим отчимом Мэтти. С Мэтти Дойлом шуточки плохи.

Мэтти сердито смотрит на Хэмиша с сигаретой – я думал, сейчас его стукнет, они вечно ссорятся, но Мэтти его не ударил.

Наоборот, он спросил:

– Для меня не найдется?

Хэмиш улыбнулся всем лицом, даже зелеными глазами – глаза у него от нашего отца, – но ничего не ответил.

Мэтти его молчание не понравилось.

– Черт тебя подери! – Он стукнул Хэмиша по голове, а Хэмиш расхохотался, довольный, что сумел вывести его из себя. Опять победил. – Я пойду в паб. Пусть кто-нибудь из вас придет за мной, когда закончится.

– Да ты оттуда услышишь, – говорит Дункан.

Мэтти рассмеялся, но вид у него испуганный, бледнее обычного.

– Кто из вас смотрит за ним? – Жестом он указал на малыша в грязи. Мы все тоже посмотрели на Бобби. Он самый младший, двухлетка. Сидит в каком-то дерьме, извазюкался до самых глаз, и ест траву.

– Он всегда ест траву, – говорит Томми. – Ничего с ним не поделаешь.

– Ты у нас корова, что ли? – спрашивает Мэтти сына.

– Ква-ква, – отвечает Бобби, и мы все хохочем.

– Бога ради, научите же его отличать корову от лягушки! – ухмыляется Мэтти. – Бобби, папа пошел в паб, будь хорошим мальчиком. – Он взъерошил Томми волосы: – Приглядывай за ним, сынок.

– Пока, Мэтти! – говорит Бобби.

– Для тебя я папа! – отвечает Мэтти, слегка покраснев от злости.

Он ужасно злится, когда Бобби называет его по имени, но Бобби не виноват, он же слышит, как мы все называем Мэтти по имени, потому что нам он не родной, а разницу Бобби пока не понимает, ему кажется, все мы одинаковые. Только старший сын Мэтти, Томми, зовет его папой. У нас в семье есть Дойлы и есть Боггсы, и все мы, кроме Бобби, это знаем.

– Давайте дальше играть, – говорит Дункан, а мама снова кричит.

– Он играть не будет, если не перебросит, – сердито заявляет Энгюс.

– Хорошо, пусть бросит заново, утихомирься, – говорит ему Хэмиш.

– Эй! – возмущаюсь я. – Я не жулил.

Хэмиш подмигивает:

– Ну так покажи им.

Я вздыхаю. Мне десять лет, Дункану двенадцать, Энгюсу четырнадцать, а Хэмишу шестнадцать. Двум маленьким Дойлам, Томми и Бобби, пять лет и два. У меня трое старших братьев, и мне все время приходится доказывать, что я не хуже, а если в чем-то я лучше, например в марблс, они этого стерпеть не могут, и приходится из кожи вон лезть, потому что тогда они говорят, что я жухла. Это я научил их всем новым играм, про которые прочел в книгах. Я играю лучше, и все они из-за этого звереют, но Энгюс просто с ума сходит – стоит ему проиграть, и он непременно меня побьет. Хэмиш тоже не любит проигрывать, но он придумал, как меня использовать.

Мы играем в «Завоевателя» втроем: я, Дункан и Энгюс. Томми Энгюс в игру не взял, потому что он играет совсем скверно, так плохо, что портит игру. Когда старших нет поблизости, я учу Томми играть. Мне это нравится, хотя играет он чертовски плохо. «Чертовски» – так Хэмиш говорит обо всем. Для учебы я беру самые дешевые шарики, простые прозрачные, потому что Томми непременно их надколет, он все портит. Сейчас он сидит на ступеньках в стороне от Хэмиша. Он боится Хэмиша. Томми знает, что Хэмиш не ладит с его отцом, и думает, что обязан защищать отца, когда того здесь нет. Ему всего пять лет, но он крутой малец, тощий и бледный, весь в отца. Ребята прозвали его Ершиком, потому что он тощий и жилистый, похож на ершик, каким чистят бутылки.

А придушил меня Энгюс вот почему: он первым пустил шарик, затем Дункан бросил свой и подбил его, так что Энгюс уже был зол. Дункан забрал его шарик и пустил свой, начал новую игру. Я подбил Дункана, забрал его шарик и тоже запустил свой.

Энгюс кинул свой завиток и промахнулся мимо моего шарика.

Дункан нацелился на этот шарик Энгюса – не потому, что тот оказался ближе моего, а потому, это я точно знаю, что он видел, как Энгюс пыхтит, и хотел еще пуще его завести. Но он промахнулся, и опять настала моя очередь. У меня было две мишени на выбор, я мог подбить матовый шарик Дункана, только он мне был не очень нужен, такие у всех есть, это одноцветные шарики, а мог добыть завиток Энгюса, на который давно глаз положил. Энгюс говорил, будто выиграл его, но я думаю, он его украл из магазина Фрэнсиса. Живьем я такой ни у кого не видел, только на картинке в одной из моих книг, так что знал, что это – особый шарик, трехцветный, их называют «змеиный завиток»: завиток в нем двойной, а сам шарик прозрачно-зеленый с матовым белым крапом. Внутри крошечные прозрачные пузыри. Я нашел его в ящике у Энгюса много дней назад, но Энгюс меня словил и дал по яйцам, чтобы я вернул шарик. И даже тогда я аккуратно положил его, а не выронил, нельзя его царапать, а смотреть, как Энгюс пускает его в ход, больнее, чем удар в пах. Такой шарик должен лежать в коробке, его беречь надо.

Я решил проделать тот удар, который недавно отработал, потрясти их всех: закрутить свой биток и подбить оба шарика в один раз. Я запустил свой биток, и он, как я и задумал, первым делом подбил матовый шарик Дункана, но тут Томми заорал, и все поглядели на Бобби, который запихнул себе в рот улитку,

прямо с ракушкой и всеми причиндалами. Энгюс кинулся к малышу, открыл ему рот:

– А где ракушка, ты что, схрумкал ее, Бобби?

Бобби ничего не ответил, ждал свою порцию, широко распахнув огромные голубые глаза. Он среди нас единственный блондин, ему и убийство сойдет с рук благодаря этим голубым глазам и светлым волосам – даже Хэмиш стукает его не каждый раз, когда руки чешутся. И вот все они пытались разобраться, куда же делся улиткин домик, и никто не смотрел, когда мой биток стукнул и по шарику Энгюса тоже, что означало: я одним ударом заполучил оба шарика. А когда они оглянулись и увидели, что я схватил оба шарика, Энгюс тут же обвинил меня в жульничестве и принялся душить.

Теперь, высвободившись, я должен был опровергнуть обвинение, повторив тот же бросок. Оно бы ладно, я знал, что смогу, но только не когда все они думают, будто я смухлевал. Если сейчас я промахнусь, они точно решат, что я жухла. Хэмиш подмигнул мне. Я знаю, он знает, что я могу, но, если я сейчас не выиграю, он, наверное, не возьмет меня с собой этой ночью. Ладони начинают потеть.

Мама снова вскрикнула, Томми в ужасе оглянулся.

– Ребенок? – спросил Бобби.

– Уже скоро, дружок, уже скоро, – сказал Хэмиш, сворачивая себе новую сигарету, хладнокровный, как огурец. Честно, когда вырасту, хочу быть в точности таким, как он.

Распахнулась дверь соседнего дома, оттуда вышла миссис Линч со своей дочкой Люси. Стоило Люси увидеть Хэмиша, и лицо у нее заполыхало. Она держала поднос с целой горой сэндвичей. Я приметил клубничное варенье, а миссис Линч несла в кувшине разбавленный апельсиновый сок.

Мы так и накинулись на эту еду.

– Спасибо, миссис Линч! – сказали мы дружно с набитыми ртами, пожирая сэндвичи. Мама там кричит наверху, а нас со вчерашнего вечера не кормили.

Хэмиш подмигнул Люси, она как-то странно захихикала и убежала в дом. Однажды я видел их вместе поздно вечером, он сунул одну руку ей в блузку, а другую запустил под юбку, а она обхватила его за пояс ногой, точно обезьянка, широкие белые бедра блестели в темноте.

– Ваша мама так и будет рожать, пока девочку не заполучит? – спросила миссис Линч, присаживаясь на ступеньку.

– Думаю, на этот раз будет девочка, – отозвался Хэмиш. – Форма живота у нее другая была.

Хэмиш говорит совершенно серьезно: хоть он и шебутной, он многое подмечает, такое видит, на что все остальные внимания не обращают.

– Наверное, ты прав, – соглашается миссис Линч. – Живот вздернут, это точно.

– Приятно будет заиметь в семье девочку, – говорит Хэмиш. – Хватит с меня этих вонючих засранцев, тошнит.

– А, она всеми вами будет командовать, вот увидишь, – говорит миссис Линч. – Как моя Люси.

– Уж она точно командует Хэмишем, – бормочет Энгюс и тут же получает от Хэмиша ногой в живот – пережеванный хлеб с вареньем вылетает у него изо рта, он согнулся пополам, а я торжествую: вот и расплата за то, что меня душил.

Зеленые глаза Хэмиша мягко светятся, похоже, он и правда рад будет сестре. Совсем размяк мой грозный старший брат.

Мама опять кричит.

– Уже скоро, – повторяет Хэмиш.

– Она молодцом, – говорит миссис Линч, но кажется, будто ей и самой стало больно только оттого, что она слышит эти крики. Может быть, вспоминает, как это было. Мне тоже поплохело, стоило представить, как младенец лезет из нее.

Акушерка выкрикивает какие-то команды, словно мама – боксер на ринге, а она – тренер. Мама визжит как свинья, за которой гонится с ножом мясник.

– Еще чуть-чуть, – говорит Хэмиш.

Миссис Линч смотрит на него с уважением: все-то он знает. Как самый старший, он уже пять раз пережил роды и даже если не все запомнил, кое в чем разбирается.

– Ладно, доиграем, пока ее ждем! – Энгюс вскочил и рукавом утер варенье с лица.

Я знаю: Энгюс хочет перед всеми доказать, что я смошенничал. Он знает, что Хэмиш покровительствует мне, а поскольку драться с Хэмишем у него силенок не хватит, он вместо старшего брата мучает меня. Сделает мне больно – и как будто поквитается с Хэмишем. И Хэмиш тоже это чувствует. Для меня это хорошо, а для того, кто меня обижает, – плохо. Только на этой неделе Хэмиш выбил зуб парню за то, что не взял меня в свою команду, – а я даже и не хотел играть в футбол.

Я поднимаюсь, занимаю свое место. Сосредоточиваюсь изо всех сил, сердце так и бьется, руки потеют. Очень хочу заполучить змеиный завиток.

Акушерка кричит, что показалась головка. Мамины вопли уже невозможно слушать: свинью загнали и режут.

– Умница девочка, умница, – бормочет миссис Линч, грызя ноготь и раскачиваясь взад-вперед на крыльце. Можно подумать, мама ее слышит. – Уже почти все, лапочка моя. Ты справилась. Справилась.

Я запускаю биток. Он бьет по шарику Дункана, как и я хотел, и катится к шарику Энгюса. Завиток будет мой.

– Девочка! – восклицает акушерка.

Мой биток подкатывается к завитку Энгюса. Он на волос разминулся с ним, но никто не смотрит, никто ничего не видит. Все так и застыли. Замерла и миссис Линч. Все ждут. Ждут, когда младенец закричит.

Хэмиш закрыл лицо руками. Я еще раз огляделся: никто не смотрел ни на меня, ни на мой биток, который так и прокатился мимо шарика Эгнюса, даже не коснулся его.

Я шагнул чуть вправо – никто не смотрел. Я вытянул ногу и слегка подтолкнул свой шарик обратно, чтобы он остановился рядом со змеиным завитком. Сердце отчаянно стучало. Я поверить не могу, что творю такое, но если сойдет с рук, то я заполучу завиток, он взаправду будет мой.

И вдруг раздался плач – но не младенца, а мамы.

Хэмиш кинулся в дом, Дункан за ним. Томми выдернул Бобби из грязи и побежал следом. Энгюс глянул под ноги, увидел, что наши два шарика лежат вплотную.

Лицо у него страшно серьезное.

– Ладно. Ты выиграл. – И он ушел в дом вслед за братьями.

Я поднял зеленый шарик, оглядел его со всех сторон. Какое счастье, что он наконец-то у меня на ладони, станет частью моей коллекции. Это ужасно редкие шарики. Но радовался я недолго: возбуждение сникло, и смысл всего случившегося дошел до меня.

Нет у нас сестренки. Младенец не выжил. А я – жухла.

4

Не прыгать

– Сабрина, с тобой все в порядке? – окликнул меня Эрик из-за офисного стола.

– Да, – ответила я, стараясь приглушить голос. Вовсе я не в порядке. Только что расколотила кружку о бетонную стену, потому что упустила свой шанс спасти утопающего. – Думала, осколков будет больше.

Мы оба посмотрели на кружку, стоявшую теперь на столе Эрика. Ручка отлетела и сколот край, но больше никакого ущерба. – Моя мама однажды запустила чайником в потолок, так осколков было намного больше.

Эрик внимательно присмотрелся к кружке:

– Наверное, дело в том, как она врезалась в стену. Под каким углом.

Мы молча обдумали эту мысль.

– Тебе надо сейчас домой, – вдруг решил он. – Возьми отгул. Посмотри на затмение, все про него только и говорят. Возвращайся в понедельник.

– Ладно.

Мой дом – крайний в ряду коттедж на три спальни, где я живу с моим мужем Эйданом и тремя сыновьями. Эйдан работает в службе поддержки Eircom, но у нас в доме интернет так и не удается наладить. Мы женаты уже семь лет. Познакомились на Ибице, на соревновании в ночном клубе – кто быстрее слижет сливочный крем с груди незнакомца. Грудь была его, а я слизывала, и мы выиграли. И не сказать, чтобы для меня это был такой уж странный поступок. Мне было девятнадцать, семь парочек выступали перед залом, где сидели тысячи зрителей, мы выиграли бутылку текилы, распили ее на пляже и занялись сексом. Странно было бы, если бы нет. Тогда я совершенно не знала Эйдана, однако теперь он бы и сам не узнал себя тогдашнего – нахального парня с серьгой в ухе и сбритой бровью. Оба мы изменились, конечно. Эйдан теперь не любит ходить на пляж, говорит, песок всюду забивается. А я теперь не ем молочных продуктов.

Я почти никогда не бываю дома одна. Даже вспомнить не могу, когда такое было в последний раз, чтобы вокруг не скакали дети, поминутно прося меня дать то

и сделать это. В одиночестве я не знаю, чем заняться, и просто сижу в пустой кухне, оглядываюсь по сторонам. Десять часов утра, день едва начался.
Я заварила себе чай, чтобы чем-то заняться, но пить не стала. Вовремя остановилась, когда уже запихивала чайные пакетики в морозилку. Все время у меня так. Гора грязного белья и гора глажки – нет, пусть подождут.
Я заметила, что опять задержала дыхание, и поспешила выдохнуть.

Все время что-то остается несделанным. Столько дел, для которых в туго забитом дне так и не остается получаса. Теперь у меня есть время – целый свободный день – но я не знаю, с чего начать.

Зазвонил мобильный, пробудив меня от сомнений: номер больницы, где лежит мой отец.

– Алло? – сказала я и почувствовала стеснение в груди.

– Привет, Сабрина, это Ли. – Любимая сиделка моего отца. – Только что доставили пять коробок для Фергюса. Это от вас?

– Нет.

– О! Видите ли, проблема в том, что у вашего отца в палате маловато места.
Я ему их пока еще не показывала, они так и лежат в приемной. Решила сначала поговорить с вами, вдруг там что-то такое, что может его расстроить.

– Да, вы правы, спасибо. Не беспокойтесь, я прямо сейчас приеду за ними,
я как раз освободилась.

Вот так всегда. Если выдастся у меня минута без работы и детей, ее тут же заполнит папочка. Через полчаса я добралась до больницы. Коробки громоздились одна на другой в углу приемной. Ли была права: в папиной комнатке они бы не поместились, и, хотя я поначалу не сообразила, откуда они взялись, при виде коробок сразу все поняла и обозлилась. Это те самые коробки с папиными вещами, которые я сама и укладывала после продажи его дома. Мама взяла их на хранение, а теперь они ей, видимо, надоели. Только почему же она послала их сюда, а не прямо мне?

В прошлом году у папы случился тяжелый инсульт, и теперь он живет в отделении для хроников, где получает профессиональный уход, какого я, со своими тремя ребятишками, ему никак не могла бы обеспечить. Чарли семь лет, Фергюсу пять, Алфи три и еще работа. Мама тоже на себя брать эти заботы не стала, ведь они давно в разводе, а расстались, еще когда мне было пятнадцать. Правда, теперь у них отношения как никогда наладились, и мне даже кажется, мама с удовольствием навещает его раз в две недели.

Повсюду пишут, что стресс не может спровоцировать инсульт, но с папой это стряслось, как раз когда у него случились самые большие в его жизни неприятности, финансовый кризис здорово по нему ударил. Он работал в компании, занимавшейся финансированием стартапов. Некоторое время он еще бился в поисках новых клиентов, пытался вернуть старых, но на его глазах рушились чужие жизни, и он чувствовал себя виноватым, а поделать ничего не мог. Потом нашел себе новую работу – торговать автомобилями, надеялся наладить жизнь, но пока что толстел, давление росло, он не занимался спортом, все время курил, много пил, в общем, все делал себе во вред. Я не врач, но я знаю: он вел себя так из-за стресса, а потом у него случился удар.

Его речь трудно разобрать, и он пока сидит в инвалидной коляске, но учится ходить. Он сильно похудел и выглядит другим человеком по сравнению с тем, каким был в последние годы перед болезнью. После инсульта память у него нарушена, и это сердит маму: он ухитрился забыть все их споры и ссоры, все мучения, свои проступки – а их на протяжении брака было немало. Он чист и благоухает розами.

– Он живет себе как ни в чем не бывало. Не чувствует себя виноватым, ему не за что извиняться, – возмущается мама. Она-то надеялась, что он до конца жизни будет терзаться виной, а он ей все испортил. Взял и забыл все. Но, хотя у нее множество обид на Фергюса до инсульта, она регулярно приезжает к нему, и они воркуют, словно супруги, какими они хотели бы стать, да не смогли. Говорят о политических новостях, о садоводстве, погоде, смене сезонов. Утешительная болтовня. Мне кажется, больше всего мама на это и сердится: что теперь он стал ей приятен. Этот добрый и мягкий пожилой пациент – мужчина, за каким она могла бы оставаться замужем.

Папа был серьезно болен, но все же мы его не потеряли. Он жив, а утратили мы лишь часть его – ту отчужденную, отдаленную, порой неприятную сторону, которая мешала нам его любить. То, что отталкивало в нем многих. То, что

хотело жить само по себе, но чтобы мы все были под рукой, на случай если вдруг понадобимся. Теперь он вполне доволен жизнью, ладит с медсестрами, завел друзей, и я провожу с ним гораздо больше времени, чем прежде, каждое воскресенье приезжаю вместе с Эйданом и мальчиками.

Что именно он забыл, а что сохранилось, выясняется лишь в тот момент, когда я о чем-то упоминаю и вижу ставшее уже знакомым выражение его лица: глаза туманятся, взгляд становится отсутствующим, он сверяет услышанное с ворохом своих воспоминаний и вытаскивает пустышку: не сошлось. Так что понятно, почему нянечка Ли не понесла коробки прямо к нему: переизбыток вещей, которые он не сумеет вспомнить, конечно же расстроит больного. Есть способы обходить такие моменты – я ступаю мимо на цыпочках и поскорее прочь, словно об этом и речи не было, или же притворяюсь, будто это я все перепутала.
Не потому, что это расстраивает его – обычно обходится без особых драм, словно он ничего такого не заметил, – главным образом это огорчает меня.

Коробок больше чем было, мне так не терпится, что я, не дожидаясь, пока привезу их домой, прямо тут, в коридоре больницы, поддеваю ключом скотч на верхней коробке и раздираю его. Отодвинув клапан коробки, заглядываю внутрь, ожидая увидеть фотоальбомы или свадебные карточки. Что-нибудь сентиментальное, что уже не кажется маме дорогим, а, напротив, возмущает ее сердце против мужа, который лишил ее всего этого. Разбитые мечты, нарушенные обещания.

Но я вижу папку с рукописными страницами, знакомый отцовский почерк с завитушками, как на записках, которые он давал мне в школу, и на поздравительных открытках. Сверху написано: «Каталог марблс». Под папкой – коробочки, банки, мешочки, что-то завернуто в упаковочную бумагу, что-то в пузырчатую.

Я начала приподнимать крышки. В каждой баночке и коробочке – нежнейшие краски, леденцово сияющее стекло. Я смотрела на все это богатство в изумлении, потрясенная: никогда не знала, что папа коллекционирует марблс. Не знала, что он в них разбирается. Не будь каталог написан его почерком, я бы подумала, что тут какая-то ошибка. Словно я открыла коробку – а там чья-то другая жизнь, не его.

Открыв папку, я стала читать список, и он оказался совсем не сентиментальным, как я ожидала.

Все мешочки, бархатные и сетчатые, и жестяные банки снабжены цветными этикетками и номерами, чтобы не перепутать, и такими же цветами размечены рубрики каталога.

Первый в списке – маленький бархатный мешочек с четырьмя шариками. Инвентарь именовал их «кровяниками», а в скобках – «камрадами». Открыв мешочек, я увидела шарики поменьше всех прочих и с разнообразными красными завитками. Папа чрезвычайно подробно их описал:

Редкие кровяники от Christensen Agate с прозрачными красными завитками, коричневая просвечивающая граница на белом матовом фоне. Встречаются гораздо реже обычных кровяников.

В кубической коробке – еще кровяники, датированные 1935 годом, от компании Peltier Glass. Наклейка у них, что логично, красная, а в каталоге они отнесены к той же рубрике, что и бархатный мешочек. Я взяла в руки несколько шариков, покатала, прислушиваясь к легкому их постукиванию друг о друга, а разум лихорадочно пытался найти объяснение тому, что я обнаружила. Эти мешочки, банки, коробочки скрывали в себе изумительной красоты цвета, спирали, завитки, каждый оттенок так и переливался, попав под луч света. Я вынула несколько шариков и поднесла их к окну, всматриваясь во внутренние детали, пузыри, игру света. Такие маленькие и так сложно устроены – они меня околдовали. Я поспешно пролистала страницы каталога. Завитки латтичино, разделенные внутренние завитки, цельные внутренние завитки, опоясывающие завитки, плащ Иосифа, ленточные/невнутренние завитки, мятные завитки, опоясанные матовые, клэмброты, индийские, опоясанный латц, латц луковая кожица, ленточный латц – столько терминов, совершенно для меня невнятных. А еще более удивительно, что на других страницах того же каталога отец вел учет цены каждого шарика по следующим категориям: размер, в идеальном состоянии, в почти идеальном состоянии, в хорошем, в пригодном для коллекции. Выходит, эта скромная коробочка кровяников стоит от 150 до 250 долларов.

Все цены были приведены в американских долларах, какие-то шарики стоили пятьдесят долларов или сто, но двухдюймовый ленточный латц оценивался в 4500 долларов в идеальном состоянии, в 2250 – в почти идеальном, в 1250 –

в хорошем и в 750 долларов, если он пригоден для коллекции. Какой шарик в каком состоянии, я разобраться не могла, мне они все казались идеальными – ни трещины, ни скола, – но их тут были многие сотни, каталог толщенный. Выходит, папа собрал коллекцию марблс ценой в немалые тысячи долларов.

Нужно поразмыслить. Вокруг – звуки и запахи отделения для хроников, они мгновенно вернули меня из магического мира марблс к реальности. Я беспокоилась, как отец будет платить за уход, но если он не ошибся с оценкой своей коллекции, то вот его сбережения на черный день. Я все время волновалась из-за медицинских счетов. Ему в любой момент могли понадобиться операция, новые лекарства или какие-нибудь процедуры. Курс лечения все время меняется, счета растут, а от денег, вырученных за его квартиру, мало что осталось после выплат по закладной и погашения долгов. Мы и представления не имели, в какую яму он себя загнал.

Почерк у отца безукоризненный, красивые, перетекающие друг в друга строки, ни единой ошибки – наверное, случись описка, он бы вырвал страницу и начал сначала. Каталог составлялся с любовью, в него вложено много времени и старания, исследований, знаний. Вот именно: этот каталог написан экспертом. Совсем другим человеком – не тем, кто ныне с трудом водит ручкой по бумаге, но и не тем, каким я знала отца. Его единственным хобби, насколько я видела, было смотреть футбол и обсуждать матчи. Я решила рассмотреть все содержимое коробок дома, не спеша. Джерри, привратник больницы, отнес их в мою машину. Но прежде чем запечатать коробку, я все-таки вытащила из нее мешочек с красными шариками.

Отец сидел в гостиной, пил чай и смотрел «Выгодную сделку». Он смотрит это шоу каждый день: про то, как люди отыскивают на рынке всякие редкости, а потом пытаются подороже продать их с аукциона. Может быть, в таких вот мелочах и сказывалось давным-давно его пристрастие коллекционера, а я пропустила все намеки. Вспомнила про каталог и прикинула, не вернуться ли за ним. Глядя на то, как отец пристально следит за ростом цен на антикварные предметы, я подумала: может быть, он так же точно помнит, что там у него в коллекции? Но он заметил меня прежде, чем я приняла решение, и я пошла к нему, навстречу его улыбке. Сердце разрывается при виде того, как он радуется посетителям, – и не потому разрывается, что он тут заброшен, а потому, что прежде ему людей не требовалось, разве что удавалось им что-то продать, а так они его раздражали, теперь же он жаждал общения и не мог дать ничего взамен.

– Доброе утро.

– Приятная неожиданность, – сказал он. – Ты сегодня не на работе?

– Эрик отпустил меня пораньше, – не вдаваясь в подробности, ответила я. – И позвонила Ли. Сказала, дело срочное, ты устроил заговор и собираешься снова организовать побег.

Он засмеялся, потом глянул вниз, мне на руки, и смех замер. В руках у меня мешочек с красными шариками. Какая-то тень пробежала по его лицу. Никогда не видала у отца такого лица. И так же быстро, как появилось, это выражение исчезло, и он опять улыбнулся мне, снова ничего не помня.

– Что это у тебя?

Я раскрыла ладонь, показала ему красные шарики в мешочке.

Он уставился на них неподвижно. Я ждала хоть слова, но ничего. Он даже мигать перестал.

– Папа?

Молчание.

– Папа? – Свободной рукой я осторожно коснулась его локтя.

– Да! – Он глянул на меня тревожно.

Я распустила шнурки мешочка и высыпала шарики себе на ладонь. Слегка их подвигала, они перекатывались и чуть постукивали друг о друга.

– Хочешь их подержать?

Он опять уставился на шарики, очень пристально, как будто пытался разгадать их тайну. Хотела бы я знать, что творится у него в голове. Там слишком много? Там все? Ничего? Знакомое ощущение. Я ждала, что на его лице вновь

промелькнет гримаса узнавания. Но нет. Только раздражение, недовольство – наверное, оттого, что не может припомнить то, что хотел. Я торопливо сунула шарики в карман и сменила тему, стараясь спрятать от него собственное разочарование.

Но я видела это. Словно всполох пламени. Словно взмах крыла. Мгновенный блеск океана под солнечным лучом. Краткий миг, и все исчезло, но это было. Когда он увидел эти шарики, на мгновение он стал другим человеком – человеком с незнакомым мне лицом.

5

«Сбор слив»

Я дома, у меня температура, единственный раз в жизни жалею о том, что пришлось пропустить школу. Год напролет я мечтал о таком дне, я ненавижу школу. В любой бы другой день заболеть, но не в этот. Вчера были похороны – не совсем настоящие, без священника, но у Мэтти есть приятель-гробовщик, и тот выяснил, где похоронят нашу сестренку: в одном гробу со старухой, которая только что умерла в больнице. Когда мы пришли на кладбище, семья старухи еще прощалась с ней и нам пришлось подождать. Мама радовалась, что девочку положили со старухой, а не со стариком, вообще не с мужчиной – эта старуха сама была матерью и бабушкой, мама поговорила с одной из ее дочерей, и та обещала, что ее мама присмотрит за малышкой. Потом дядя Джозеф и тетя Шейла прочли несколько молитв. Мэтти не молился. Он, может быть, и не умеет, а мама и слова из себя выдавить не могла.

Священник до этого заходил к нам и советовал маме не раздувать свое горе и не ходить на могилу. Мама наорала на него, а Мэтти вырвал у него из рук стакан бренди и вытолкал из дому – Хэмиш ему помог, впервые в жизни они в чем-то оказались заодно. Я видел, как люди косились на маму, когда мы шли на кладбище, все в черном, а прохожие смотрели так, словно мама рехнулась, словно сестрички и не было, раз она не сумела даже разок вздохнуть, когда родилась. Акушерка позволила маме подержать младенца, хотя это и не полагается. Мама держала девочку у груди целый час, а когда акушерка стала сердиться и отнимать трупик, вступился Хэмиш. Мэтти не было, и Хэмиш все

сделал сам, забрал у мамы из рук девочку и вышел с ней на крыльцо. Он поцеловал ее и отдал акушерке, и та унесла ее навсегда.

– Во мне она была живая, – сказала мама священнику, и мне кажется, ему это не понравилось. Ему вроде бы противно было думать, что внутри женщины могло находиться что-то живое. Но она поступила по-своему, попрощалась у могилы со своей дочкой. День был серый, холодный, дождь шел не переставая. У меня ботинки промокли насквозь, с носками, ноги онемели. Потом я весь день чихал, нос заложило, а братья толкали меня, чтоб перестал храпеть, и всю ночь меня бросало из жара в холод, я то дрожал, то потел, мерз, когда потел, а когда дрожал, мне вдруг становилось жарко. И кошмары: будто папа дерется с Мэтти, а отец Мерфи орет на меня, что-то про мертвых младенцев, и сильно бьет, а братья украли мои шарики, а мама вся в черном и воет от горя. Но это уже было по правде.

И хотя мне кажется, будто кожа у меня горит и все вокруг плывет, я не хочу звать маму. Лежу, ворочаюсь, порой плачу тихонько, потому что мне так плохо и все болит. Мама принесла мне утром вареное яйцо и положила мокрую тряпку на лоб. Она посидела со мной, вся в черном, живот еще не опал, и кажется, будто младенец по-прежнему там. Она смотрела прямо перед собой и ничего не говорила. Немножко похоже на то, какой она была, когда умер папа, но и по-другому: на папу она сердилась, а теперь просто горюет.

Обычно мама не сидит на месте. Все время убирает, стирает подгузники Бобби, моет весь дом, вытряхивает коврики и простыни, готовит, подает на стол. Никогда не останавливается, все время носится, мы путаемся у нее под ногами, она раздвигает нас в стороны коленями и бедрами, словно идет по полю, а мы сорняки. Время от времени она распрямляется, хватается за спину и стонет – и снова за работу. Но сейчас в доме тихо, очень непривычно. Мы всегда орем, деремся, хохочем, болтаем, даже ночью, то малыш заплачет, то мама ему что-то напевает или Мэтти возвращается пьяный, натыкается на мебель и бранится. Я слышал то, чего никогда прежде не слышал: потрескивание полов, гудение труб, – но ни звука от мамы. Это меня испугало.

Я вылез из кровати, ноги дрожали и подгибались, словно я разучился ходить, на лестнице мне пришлось цепляться за перила, ступеньки трещали под моими босыми ногами, пока я спускался. Я вышел в гостиную – это была маленькая комната в задней части дома, как будто спохватились и пристроили в последний момент. Мамы там не было. И в кухне не было. И в саду. Я снова заглянул

в гостиную и уже повернул прочь, но тут заметил ее – черное платье в кресле, которое стояло в дальнем углу, обычно там Мэтти располагался. Она сидела так тихо, что я не сразу и разглядел. Сидела и смотрела в пустоту, глаза красные, как будто со вчерашнего дня так и не переставала плакать. Никогда не видел ее такой неподвижной. И не помню, чтобы мы когда-нибудь оставались вдвоем, только она и я. Никогда мама не была вот так совсем моей. И от этого я занервничал – что сказать маме, когда рядом никого нет, никто не услышит, не увидит, не станет меня дразнить, задирать, подначивать? Что я скажу маме сейчас, когда обращаюсь к ней не за тем, чтобы утереть нос кому-то из братьев, не чтобы на кого-то пожаловаться? Как я узнаю, правильно ли я поступил, если рядом нет братьев – я всегда мог догадаться по их лицам.

Я хотел уже уйти, но тут вспомнил что-то, о чем хотел спросить, и спросить мог только наедине, пока никого больше не было.

– Привет, – сказал я.

Она оглянулась, словно бы с испугом, потом улыбнулась:

– Доброе утро, милый. Как голова? Хочешь еще попить?

– Нет, спасибо.

Она снова улыбнулась.

– Я хотел тебя кое о чем спросить, если можно.

Она поманила меня к себе, я подошел совсем близко и остановился, стал в смущении крутить пальцами.

– Ну, что такое? – ласково поторопила она.

– Как ты думаешь – она теперь с папой?

Она растерялась – глаза снова наполнились слезами, слова не давались. Я подумал: будь тут ребята, я бы не задал такой глупый вопрос. Вот я взял и опять ее расстроил, а ведь Мэтти велел нам остерегаться и не делать этого.

Надо поскорее выпутаться, пока она не заорала на меня или, хуже того, не расплакалась.

– Я знаю, он не ее папа, но он любил тебя, а ты ее мама. И он любил детей. Я не очень хорошо его помню, но это я помню. Его зеленые глаза, и как он все время возился с нами. Играл в догонялки. Боролся. Помню, как он смеялся. Он был худой, а руки большие. Другие папы с детьми не играют, вот почему я знаю, что ему нравилось возиться с нами. Я думаю, она теперь на небе, и он там присмотрит за ней, так что ты можешь за нее не волноваться.

– Ох, Фергюс, мой хороший! – сказала она и распахнула мне объятия, а слезы так и текли. – Иди сюда, маленький.

Я вошел в ее распахнутые руки, и она так крепко обняла меня, что я почти перестал дышать, но боялся сказать ей об этом. Она раскачивала меня и приговаривала: «Мой мальчик, мой мальчик», много раз, так что я подумал, может быть, я все-таки сказал что-то правильное.

Когда она меня отпустила, я спросил:

– Можно еще вопрос?

– Да, – кивнула мама.

– Почему ты назвала ее Викторией?

Снова ее лицо сморщилось от горя, но она справилась с собой, даже улыбнулась.

– Я никому об этом не говорила.

– Ой, прости.

– Нет, дружок, все в порядке, просто никто не спрашивал. Садись ко мне. Я тебе расскажу. – И, хотя я для этого уже слишком большой, я забрался к ней на колени – полпопы на кресле, половинка у нее на коленях.

– С ней я чувствовала себя по-другому. Живот другой. Я сказала Мэтти: я точно слива. И он сказал: хорошо, назовем ее Слива.

– Слива! – рассмеялся я.

Она кивнула и опять утерла слезы.

– Тогда я вспомнила сад моей бабушки. Мы ездили к ней – я, Шейла и Пэдди. У нее были яблони, груши, черная смородина и два сливовых дерева. Я любила сливы, потому что бабушка только о них и говорила. Мне кажется, она только о них и думала, чтоб они не взяли над ней верх. – Мама рассмеялась, и я вторил ей, хотя не понял шутки. – Мне кажется, она считала эти деревья экзотичными, и они придавали экзотичности ей, хотя она была простая, самая простая женщина, ничем не лучше любого из нас. Она пекла пироги со сливами, и я любила ей помогать. Мы каждый год попадали к ней на мой день рождения, так что мой именинный пирог – сливовый.

– Мм, – облизнулся я. – Никогда не ел сливовый.

– И правда, – сказала она, словно удивившись. – Я никогда вам сливовый не пекла. В основном она выращивала опаловые сливы, но на них надежда плохая, потому что зимой снегири склевывают все почки. Они дочиста обдирали ветки, и наша бабушка с ума сходила, гонялась за ними по саду, размахивая скатертью. Иногда она заставляла нас целый день стоять под деревьями и отгонять птиц. Я, Шейла и Пэдди торчали там вместо пугал.

Я рассмеялся, представив себе эту картину.

– «Опал» она больше всего берегла, потому что этот сорт дает самые вкусные плоды и большие, почти вдвое больше других, но и из-за «Опала» она так злилась, да и урожай это дерево давало не всякий год. Я больше любила другое дерево, «Викторию». Оно поменьше, зато плодоносило каждый год, и снегири его не трогали. – Мама отвернулась, ее улыбка угасла. – Теперь ты знаешь.

– А еще есть игра в марблс, которая называется «Сбор слив», – сказал я.

– Вот как? – переспросила она. – У тебя найдется игра в марблс на любой случай. – Одним пальцем она пощекотала меня в чувствительном местечке, и я захихикал.

– Хочешь сыграть?

– Почему бы и нет? – откликнулась она и сама удивилась.

А уж я изумился так, что вихрем взлетел наверх, за шариками, примчался обратно, а она так и сидела в кресле, задумавшись. Я стал раскладывать шарики, на ходу объясняя правила.

Рисовать на полу нельзя, поэтому линию я обозначил шнурком и выложил в ряд шарики, соблюдая расстояние между каждыми двумя шариками – шириной в два шарика. Потом положил прыгалку, обозначив линию на другом конце комнаты. Нужно встать на линию и по очереди пулять по ряду шариков.

– Это сливы, – сказал я, указывая на ряд шариков. Я был вне себя от волнения – мама целиком принадлежит мне, слушает меня, старается понять, что я толкую ей про марблс, может быть, даже сыграет со мной, и никто ее сейчас у меня не отнимает. У меня все болячки разом прошли, так я увлекся, хорошо бы и она про свои беды забыла. – Нужно целить битком в сливу: сумеешь выбить сливу – забираешь ее себе.

Она засмеялась:

– Дурацкая забава, Фергюс. – И все же стала пулять, и ей было весело, она хмурилась, промахнувшись, и радовалась, когда выигрывала. Никогда не видел, чтобы мама играла вот так, чтобы она потрясала в восторге кулаками, выбив очко. Лучшие минуты с ней за всю мою жизнь. Когда за дверью послышались голоса, крики, переругивание вернувшихся из школы братьев, я бегом подобрал рассыпанные по полу шарики.

– Ступай-ка обратно в постель! – Она взъерошила мне волосы и ушла в кухню.

Я никому не рассказывал про то, о чем мы говорили с мамой, и про нашу игру в марблс не рассказывал. Пусть это останется только для нас двоих.

И через неделю, когда мама сняла траур и спекла нам на сладкое сливовый пирог, я не стал никому объяснять, почему сливовый. Кое-чему я научился, пока тайком носил в карманах шарики, на случай если отец Мерфи снова запрет меня в кладовке, и когда ходил по ночам с Хэмишем играть, притворяясь неуклюжим новичком: я узнал, что, если умеешь хранить секреты, тебя так просто не возьмешь.

6

Не нырять

Вернувшись домой – утро все еще длилось, – я сгрузила папины коробки посреди гостиной и отделила две знакомые, с теми важными вещами и сентиментальными сувенирами, что мы хранили. Их я отодвинула в сторону, чтобы добраться для трех новых. Загадка: мы с мамой разбирали папину квартиру, каждый закуток, но этих коробок я не видела. Заварив себе свежего чая, я принялась распаковывать ту коробку, которую уже успела вскрыть. Лучше продолжать с того самого места, на котором остановилась. Так странно – много свободных часов наедине с собой. Трое мальчишек не будут дергать меня поминутно, и не нужно следить за тем, как старики переплывают из конца в конец бассейн. Очень осторожно, не торопясь, я начинала вникать в отцовский инвентарь.

Внутренние завитки – «латтичино», разделенные, ленточные, завитки «плащ Иосифа». Я вынимаю шарик за шариком и выкладываю их рядом с коробками, сижу на полу, точно один из моих сыновей со своими машинками. Утыкаюсь в них лицом, всматриваясь в глубину, сравнивая и сопоставляя. Дивлюсь цветам и разнообразию, одни шарики изнутри затуманены, другие прозрачны, третьи словно удерживают внутри радугу или же маленький, мгновенно застывший ураган. Есть одноцветные, без всяких завитков. Хотя все они рассортированы под разными незнакомыми мне названиями, я пока что толком не вижу отличий, а главное – сходства. Каждый шарик кажется мне уникальным, нужно раскладывать их очень аккуратно, чтобы не перепутать.

От описаний в каталоге ум заходит за разум – какой тут завиток, крыжовенный, карамельный или «кастард». Где «пляжный песок» с мятой, а где со слюдой.

Но папа-то разбирался, он каждый шарик знал. Слюда и окалина, прозрачные и матовые, иные так сложно устроены, будто внутри заключена целая вселенная, другие одного чистого цвета до самой сердцевины. Темные, яркие, дивные, завораживающие – он собрал их все.

А потом я наткнулась на коробку, от которой меня разобрал смех. Папа, ненавидевший любую живность и настрого запретивший мне заводить любимца, собрал полный набор «сульфидов» – прозрачных шариков с фигурками животных внутри, свой собственный зоопарк внутри маленьких стеклянных шариков. Тут и собаки, и кошки, белки и птицы, даже слон есть. Больше всех мне приглянулся прозрачный шарик с ангелом. Я долго держала его на ладони. Рассматривала со всех сторон, дав пока отдых усталой спине. Пыталась понять, что же я такое обнаружила, когда, в какой части или стороне своей жизни он был коллекционером. Может быть, когда мы с мамой уезжали, он махал нам вслед и убегал в дом к своим стеклянным зверюшкам? Возился с ними, обустраивая свой приватный мир. Или это было еще до моего рождения? Или намного позже, когда они с мамой уже развелись, он спасался от одиночества этим новым увлечением?

Попалась маленькая пустая коробка от розничного магазина компании Akro Agate, папа, как ни странно, оценил ее в 400–700 долларов причем пустую, поскольку в каталоге не упоминается содержимое. А еще стеклянная бутылочка с шариком внутри, «бутылка Кодда», за 2100 долларов. Похоже, папа коллекционировал не только шарики, но и подарочные упаковки, надеясь, видимо, потом отыскать и недостающие элементы, сложить воедино картинку. Мне стало горько за него: теперь уже ничего не сложится, эти шарики год пролежали в коробках, а он даже не спрашивал о них, забыл.

Я выкладывала шарики в ряд, смотрела, как они катаются, как цвета переливаются внутри, словно в калейдоскопе. А когда весь ковер до последнего дюйма оказался покрыт ими, я выпрямила спину, так что позвоночник щелкнул, и так и сидела, не зная, как быть дальше. Прятать их снова не хотелось, так красиво они поблескивали на полу, точно армия из леденцов.

Я снова взялась за каталог и попыталась самостоятельно опознавать с его помощью шарики, играла сама с собой в такую игру и по ходу ее заметила, что не все, перечисленное в каталоге, лежит передо мной на полу.

Пошарив еще раз в коробке, я убедилась, что она пуста, остались только мешочки и коробочки, которые сами по себе представляли коллекционный интерес, хотя в них ничего не было. Я сорвала крышку с третьей коробки и заглянула внутрь, но увидела старые газеты и брошюры, а не сокровища из пещеры Али-Бабы, которые обрела в первых двух.

Дважды тщательно все перепроверив, я могла уже с уверенностью сказать, что двух предметов из каталога недостает. Они должны быть с круглыми наклейками, желтой и бирюзовой. Первый – фирменная коробка от Akro Agate примерно 1930 года, оригинальный набор образцов, который носили при себе коммивояжеры, 25 шариков. Отец проставил в каталоге цену 7500–12 500 долларов. Второй отсутствующий предмет – «Лучшие луны мира» от компании Christensen Agate. Тоже оригинальная упаковка с 250 шариками, цена – 4000–7000 долларов. Пропали два самых дорогих предмета из коллекции.

Я сидела в оцепенелом молчании. Потом только заметила, что задержала дыхание и давно пора выдохнуть.

Папа мог их, конечно, и сам продать. Раз он позаботился оценить коллекцию, то имело смысл продавать начиная с самых дорогих. У него было совсем плохо с деньгами, это мы все знали, наверное, ему пришлось расстаться с любимыми шариками, чтобы продержаться на плаву. И все же странно: у него все так аккуратно записано, внесено в каталог. Неужели он не сделал бы пометку о том, что продал? Пожалуй, он бы и счет сохранил. Два отсутствующих предмета значатся горделиво в его каталоге, на равных правах со всем прочим, что лежит передо мной на полу.

Сначала я была ошеломлена. Потом обозлилась: почему мама никогда мне про это не рассказывала? Все, что папа так любил, попросту сложили в коробки и позабыли. Я не помнила, чтобы у папы когда-нибудь были шарики, но это не значило, что их не было: он большой любитель хранить свои секреты при себе. Вспоминая, каким он был до инсульта, я вижу костюмы в тонкую полоску да сигаретный дым, я слышу разговоры о фондовых рынках, об экономике, подъеме и падении акций на золото и нефть, по радио и телевизору – только политические новости и футбол. Нигде в моих залежах воспоминаний нет разноцветных шариков, и я с трудом могу совместить эту коллекцию, собравшего ее внимательного человека и мужчину, рядом с которым, как мне представлялось, я росла.

А потом мелькнула мысль: может быть, они вовсе и не папины. Он мог их унаследовать. Его отец умер, когда папа был еще маленьким, а его отчим Мэтти еще жив, но все, что я знаю о Мэтти, убеждает: он бы не стал возиться с шариками и не сумел бы так тщательно составить каталог. Может быть, они достались папе от родного отца или от дяди Джозефа, а отец поручил кому-то их оценить и составить каталог. Единственное, в чем я могу быть уверена: каталог написан его рукой. Все остальное – загадка.

Но есть человек, который может мне помочь. Я поднялась, нашла телефонную трубку и позвонила маме.

– Я не знала, что у папы есть коллекция марблс, – сказала я с ходу, стараясь не впадать в обвиняющий тон.

Молчание. Потом:

– Ты о чем?

– Почему я об этом не знала?

Она негромко рассмеялась:

– Он собирает шарики? Как мило. Лишь бы его это радовало, Сабрина.

– Нет. Сейчас он ничего не собирает. Я нашла их в коробках, которые ты сегодня отослала в больницу. – Вот обвиняющий тон и прорвался.

– О! – Тяжелый вздох.

– Мы договорились, что ты будешь хранить их. Почему ты вдруг отослала их в больницу?

Пусть шарики оказались для меня полной неожиданностью, содержимое других коробок я узнала – те самые вещи, которые мы сложили в коробки перед тем, как выставить его квартиру на продажу. Меня до сих грызет совесть за то, что мы ее продали, но нам требовались большие деньги на реабилитацию. Мы постарались сохранить все дорогие для отца сувениры, счастливую

футбольную форму, фотографии, еще какие-то штучки, я все это держу в сарае на заднем дворе, больше мне хранить их негде. То, что не поместилось у меня, забрала мама.

– Сабрина, я готова была хранить его коробки, но Микки Флэнаган предложил держать их у себя, и я все отправила ему.

– Микки Флэнаган, юрисконсульт, забрал папины личные вещи? – возмутилась я.

– Он же не посторонний человек. Он почти что друг. Много лет консультировал Фергюса. Он и развод наш провел. Ты же знаешь, он уговаривал Фергюса добиваться опеки над тобой. Тебе было пятнадцать, как бы Фергюс справился с пятнадцатилетней девочкой? Ты и сама-то с собой не справлялась. Микки предложил взять вещи Фергюса, у него полно места, к тому же он занимается его страховкой и счетами.

Я почувствовала, как нарастает во мне гнев.

– Знала бы я, что папины личные вещи достанутся адвокату, лучше держала бы их у себя.

– Конечно. Но ты же сказала, что больше ничего не помещается.

И это ведь правда. Мне собственную обувь негде поставить. Эйдан шутит, дескать, ему приходится выходить из дому, чтобы сменить мнение.

– Так почему же Микки отослал сегодня утром эти коробки в больницу?

– Потому что Микки нужно было от них избавиться, и я сказала ему, что там для них самое место. Не хотела, чтобы они загромождали твой домик. Печальная история на самом деле: сын Микки лишился дома и вместе с женой и детьми переезжает к Микки. Они забрали всю свою мебель, ее придется составить в гараже Микки, и он говорит, что вещи Фергюса больше у себя держать не может. Это ведь Фергюса – пусть сам и решает, что с ними делать. Он вполне может решать, ты же знаешь. Я думала, он будет рад, – добавила она мягко, без сомнения, слыша мое недовольство. Подумай, как он будет перебирать все, что лежит в коробках, пустится в воспоминания.

Я опять почувствовала, что задерживаю дыхание. Выдохнула.

– Ты обсудила с врачами, полезно ли ему пускаться в воспоминания?

– О! – спохватилась она. – Нет, не обсуждала, я… о боже! С ним все в порядке, дорогая?

Тревога ее была искренней.

– Да, я добралась до них первой.

– Мне так жаль, Сабрина, я не подумала, что это может навредить. И тебе не хотела говорить, ты бы все забрала и забила свой дом совершенно тебе ненужными вещами и, как всегда, взяла бы на себя слишком много, когда в этом нет никакой необходимости. У тебя и так полна коробочка.

Да, да, все это правда.

И я не могла винить маму за то, что ей хотелось избавиться от папиных вещей: забота о нем вот уже пятнадцать лет как не входит в ее обязанности. И конечно, она хлопотала о моем же благе, не хотела нагружать меня еще и этим.

– Так ты знала про коллекцию шариков? – уточнила я.

– Ох уж этот человек! – вернулась ее обида на другого Фергюса. На прежнего Фергюса. Былого Фергюса. – Отыскалась среди прочего – коллекция хлама конечно же? Мне кажется, честное слово, он все подбирал. Помнишь, сколько мы разбирали кладовку перед продажей квартиры? Каждый день он приносил домой пакетики горчицы и майонеза из тех кафе, где обедал. Я просила его прекратить. По-моему, это уже расстройство. Знаешь, говорят, люди, склонные делать такие запасы, имеют какие-то эмоциональные проблемы. Они цепляются за все, что им удалось накопить, боятся отпустить.

Ее речь продолжается бесконечно, я пропускаю девяносто процентов сказанного мимо ушей, включая ее манеру отзываться об отце исключительно в прошедшем времени, как о покойнике. Тот человек, кого она знала, и вправду умер. Тот, кого она раз в две недели навещает в больнице, вполне ей по душе.

– Однажды мы поссорились из-за шарика, – донесся до меня обиженный голос.

Нет такого повода, по которому они бы хоть раз в жизни не поругались.

– В чем было дело?

– Не припомню, – чересчур поспешно ответила она.

– Но про коллекцию ты ничего не знала?

– Откуда мне было знать?

– Ты была за ним замужем. К тому же, раз я не упаковывала эти шарики, значит, их сложила ты.

– Умоляю тебя, я уже пятнадцать лет не замужем за ним и не могу отвечать за то, что он делал потом, да и за то, что он делал в браке, на самом-то деле, – рассердилась она.

Тут уж я совсем растерялась.

– Кое-чего в коллекции недостает, – сказала я, глядя на все богатство, рассыпанное передо мной по полу.

И чем больше я думала над тем, как они хранились у папиного адвоката, тем более укреплялось во мне подозрение. Мисс Марпл – дело о марблс.

– Я не намекаю, будто Микки Флэнаган украл их, – намекнула я. – Может быть, папа их как-то потерял.

– Чего не хватает? – с искренней тревогой спросила она. Разводилась она с недоумком, но тому приятному мужчине в реабилитационном центре никто не смеет причинять ущерб.

– Часть коллекции шариков.

– Он лишился шариков? – Мама хохочет, но я в этом не участвую. Потом, отдышавшись, она говорит: – Знаешь, дорогая, твой папа едва ли когда-нибудь мог иметь дело с шариками, наверное, это ошибка, они не папины или Микки вовсе отдал не те коробки. Давай я ему позвоню?

– Нет, – отвечаю я в полном недоумении. Смотрю на пол, вижу страницы, исписанные отцовским почерком, полный каталог этих шариков, а мама, похоже, действительно ничего о них не знает.

– Шарики точно его, и пропали самые ценные.

– По его собственным прикидкам, разумеется.

– Не знаю, кто проводил оценку, но здесь есть и сертификаты. Шарики подлинные. На пропавшие шарики сертификатов нет. Если верить каталогу, один из этих предметов стоит до двенадцати тысяч долларов.

– Что? – задохнулась она. – Двенадцать тысяч за шарики?

– За коробочку шариков, – усмехнулась я.

– Неудивительно, что он разорился. А при разводе они не были включены в состав подлежащего разделу имущества.

– Может быть, тогда он еще не начал их собирать, – заметила я негромко.

Но мама продолжала свое, будто я ничего и не говорила, в ее голове уже сложилась целая теория заговора, но один вопрос так и остается без ответа. Я не упаковывала эти шарики в коробки, и она про них ничего не знала, но каким-то образом они соединились с остальным папиным имуществом.

Я взяла у нее телефон Микки и на том закончила наш разговор.

Шарики полностью покрывают пол комнаты. Они прекрасны, сверкают на ковре, словно полуночные звезды.

В доме тихо, только голова моя гудит. Я подняла с пола тот набор шариков, который значился в каталоге первым. Та коробочка кровяников, которую я показала папе, – в каталоге они называются «камрады».

Я до блеска натерла их, словно извиняясь за то, что никогда прежде о них не слышала.

Я умею помнить о людях то, что они сами забыли, и теперь я знаю о папе кое-что важное, что он сам забыл. Есть вещи, которые мы хотим забыть, есть, которые забыть не можем, вещи, о которых мы не помним, что забыли, пока не вспомним. Но вот новая категория. Есть вещи, которые мы бы ни в коем случае не хотели забыть, – и каждому нужен кто-то, кто будет на всякий случай помнить за него.

7

«Загони лису»

Мне велено было присматривать за Бобби. Именно так мама сказала уходя, обычным своим грозным тоном: «Смотри за ним в оба, понял? Глаз. С него. Не. Спускай». И на каждом слове она тыкала меня в грудь сухим, потрескавшимся пальцем.

Я пообещал. Честно-пречестно. Когда мама вот так на тебя смотрит, ты изо всех сил стараешься сделать то, что она велит.

Но потом я отвлекся.

Почему-то мама доверяла мне смотреть за Бобби. Может быть, из-за того разговора про Викторию, который был у нас, только у нас двоих, пока все остальные сидели в школе, и потом мы еще сыграли вместе в марблс. Мне кажется, с тех пор мама стала обращаться со мной иначе. Может, и нет, может, это все мое воображение или это я стал смотреть на нее по-другому. Никогда раньше не видел, чтобы она так играла – с малышами иногда, но чтобы вот так, на полу, задрав юбку, упираясь коленями в ковер. Мне кажется, Хэмиш тоже заметил перемену. Хэмиш все подмечает, и не потому ли он теперь

немного меня зауважал, ведь мама стала гораздо больше мне поручать, затрещин мне достается куда меньше обычного. Или она стала такой, потому что скорбит. «Скорбит» – так выражается священник. Может быть, со мной тоже это было, когда умер папа, но я ничего не помню. Или это бывает только у взрослых.

Мама теперь ненавидит священника. После того, что он сказал ей, когда умерла Виктория и Мэтти с Хэмишем вытолкали его из дома. Но она все равно ходит к мессе, говорит, не ходить грешно. Она таскает нас в церковь на Гардинер-стрит к десяти часам каждое воскресенье и обязательно наряжает.
Она приглаживает мне волосы, смачивая их слюной, я чувствую запах ее плевка у себя на лбу. Воскресное утро пахнет слюнями и ладаном. Мы всегда садимся в третьем ряду, семьи обычно занимают каждый раз одни и те же места. Мама говорит, месса – единственное время, когда ее оставляют в покое, так что нам всем лучше заткнуться. Даже Мэтти ходит к мессе, хотя и воняет вчерашней выпивкой и качается на сиденье, словно все еще пьян. На мессе мы всегда молчим, еще бы: в первое запомнившееся мне посещение церкви мама ткнула пальцем в сторону Иисуса, висевшего на кресте, – кровь течет по лбу, из рук и ступней торчат гвозди – и сказала: «Только пикни, только осрами меня тут, и с тобой будет то же самое». Я ей поверил. Мы все ей верим. Даже Бобби сидит тихо. Сидит и сжимает в руках молочную бутылочку, а священник знай себе талдычит, голос его отражается от высоченного свода. Бобби смотрит на все эти изображения кругом по стенам, где почти нагого человека терзают четырнадцатью разными пытками, и прекрасно понимает, что тут не забалуешь.

Мама ушла в школу к Энгюсу. У него неприятности: попался на том, что сожрал все облатки, остававшиеся после мессы, – он служит в алтаре, и он съел их подчистую, несколько сот штук. Когда его спросили, не хочет ли он что-нибудь сказать по этому поводу, он попросил пить, потому что целая куча облаток прилипла у него к нёбу. «Во рту было сухо, как в аду», – шепнул он нам ночью в постели, и мы так хохотали, чуть не уписались. Энгюсу нравится прислуживать в алтаре, ему за это платят, особенно на похоронах, он сидит в классе, а священник проходит за окном и показывает ему, куда он требуется: большой палец вверх или вниз. Если вверх, то на похороны, и там платят больше. А на свадьбе меньше. Никто не хочет прислуживать священнику на свадьбе.

Дункан помогает в мясной лавке у Мэтти, ощипывает кур и индеек – наказан за то, что смошенничал на экзаменах. Говорит, что хочет бросить школу, как Хэмиш, но мама не разрешает. Она говорит, он не такой умный, как Хэмиш,

хотя в чем тут смысл? Я-то думал, кто умнее, тот учится лучше, а тупым заканчивать школу не стоит.

Томми играл во дворе в футбол, так что смотреть за Бобби выпало мне. Вот только я плохо смотрел за ним. Но даже Господь Бог не сумел бы углядеть за Томми – это какой-то ураган, никогда не останавливается.

Пока он играл на полу с поездом, я достал новую игру «Загони лису», которую мне подарили на одиннадцатилетие. Игра от компании Cairo Novelty, лиса – матовый шарик, а гончие – черно-белые завитки. Я не заметил, как Бобби схватил лису, но он вдруг замер и краешком глаза стал коситься на меня. Я обернулся и увидел, что он уже подносит ко рту матовый шарик. Тащит его в рот, а сам смотрит на меня искоса, нахально, голубые глаза блестят, что угодно готов сделать, лишь бы меня достать, даже задохнуться насмерть.

– Бобби, стой! – заорал я.

Он улыбнулся, очень довольный, что я так разволновался. И поднял руку еще ближе ко рту.

– Нет! – Я прыгнул к нему, и он пустился бежать, быстрый маленький засранец, не угонишься – вроде бы пухлячок, мускулов нет, а несется со скоростью сто миль в час, лавирует между стульями, ныряет под них, выскакивает. Наконец я загнал его в угол и остановился. Шарик уже прямо у его губ.

Он хихикнул.

– Бобби, послушай, – отдыхиваюсь я. – Если сунешь его в рот, подавишься и умрешь, понял? Бобби не будет. Бобби сдохнет, на хрен!

Он все смеется. Рад моему страху. Рад, что взял надо мной верх.

– Бобби… – грозно повторяю я и медленно придвигаюсь, готовый сразу же прыгнуть. – Отдай мне шарик…

Он сунул его в рот, и я набросился на него, сжал круглые щеки, пытаясь вытолкнуть шарик наружу. Иногда он просто держит за щекой то,

что подобрал – камешки, улиток, гвозди, всякую грязь, сует в рот на хранение, а потом выплевывает. Но шарик не прощупывается, щеки скользкие, кожа, слюна, сопли подтекают из носа. Он начинает давиться, и я силой раскрываю ему рот – там пусто. Маленькие молочные зубки и податливый красный язык – больше ничего.

– Черт! – шепчу я.

– Селт! – повторяет он.

– ХЭМИШ! – ору я во всю глотку. Хэмиш должен был пойти в город работать или искать работу или чем там Хэмиш занимается теперь, когда больше не учится в школе, но я слышал, как он вернулся домой, хлопнул дверью и протопал наверх, в нашу общую комнату. – ХЭЭЭЭМИШ! – завываю я. – Он съел лису! Бобби проглотил лису!

Бобби таращится на меня, испуганный моим криком, мой страх передается ему, того гляди, заревет. Но это меня сейчас меньше всего беспокоит.

Ботинки Хэмиша громко простучали по лестнице, он ворвался к нам:

– Что стряслось?

– Бобби проглотил лису.

Сначала Хэмиш удивился, но потом увидел на столе игру и сообразил. Он двинулся к Бобби, и тот совсем уж надумал зареветь. Дернулся удрать, но я его перехватил, и Бобби завизжал свиньей.

– Когда?

– Только что.

Хэмиш подхватил Бобби и перевернул его вверх ногами, потряс, словно вытряхивая монеты из его карманов, – я видел, как он это проделывал с малышней. Бобби засмеялся.

Хэмиш снова поставил его на ноги и раскрыл ему рот, засунул пальцы поглубже. Бобби широко распахнул глаза, и его вырвало противно воняющей кашей.

– Он тут? – спросил Хэмиш, и я не сразу понял, о чем он, пока он сам не опустился на колени и не порылся в блевотине в поисках шарика.

Прежде чем Бобби успел разрыдаться, Хэмиш снова его схватил и стал щекотать и трясти, тыкать пальцем ему в ребра и живот. Бобби опять захихикал, хотя от него все еще воняло рвотой, попытался вывернуться из-под руки: думал, это такая игра, а мы с Хэмишем с ума сходили.

– Ты уверен, что он проглотил?

Я кивнул и подумал: сейчас он и меня вверх ногами перевернет.

– Мама меня убьет, – сказал я, слыша, как стучит мое сердце.

– Не убьет, – сказал он не слишком убедительно, ему-то что.

– Она мне говорила не играть в шарики, если Бобби тут крутится: он вечно их тянет в рот.

– А! Ну тогда, наверное, и вправду убьет.

Мне представляется Иисус на кресте, руки пробиты гвоздями. Неужели никто никогда не интересовался, не Мария ли его пригвоздила? Быть может, главное чудо не в том, что Мария ухитрилась забеременеть, не видавши мужика, а в том, что она прибила сына к кресту и осталась вроде как ни при чем. Если меня в конце концов распнут на кресте, все первым делом заподозрят маму. И она меня через четырнадцать стояний крестного пути прогонять не станет, сразу перейдет к делу.

– С виду он в порядке, – сказал Хэмиш. Бобби надоело, что мы его со всех сторон изучаем, и он снова уселся играть с поездом.

– Да, но придется ей сказать, – ответил я, сердце так и стучало, меня пробирала дрожь. Терновый венец на голове, ладони пробиты гвоздями, пах кое-как

закутан тряпкой, соски наружу. И ведь она сделает это напоказ, как Иисуса распяли на горе, чтобы все видели, – может быть, в школьном дворе или на стене за прилавком в мясной лавке. Подвесит меня на огромный крюк, на котором коровьи туши вешают, и каждый, кто зайдет в воскресенье купить отбивную, увидит: вот он, мальчишка, недосмотревший за братиком. Две свиные, пожалуйста.

– Необязательно говорить ей, – преспокойно заявил Хэмиш и принес с кухни тряпку. – Вот, убери его дерьмо.

Я вытер.

– А если лиса застрянет у него внутри? И он перестанет дышать?

Хэмиш обдумал мой вопрос. Мы оба смотрели, как Бобби играет. Светловолосый, белокожий пухлячок снова и снова устраивал аварию, сталкивая поезд с ножкой стола, и что-то приговаривал по-своему – язык не помещался у него во рту, и слова он выговаривал нечетко.

– Слушай, ей говорить нельзя, – постановил наконец Хэмиш. Тон у него совсем взрослый, уверенный. – После того как вышло с Викторией, она… – Ему нет надобности уточнять, как мама поступит, мы с ним оба не раз видали, на что мама способна, так что догадываемся.

– Что же мне делать? – спрашиваю я.

Наверное, дело в том, как я спросил. Я сам слышал жалобные младенческие нотки в своем голосе, обычно Хэмиш злится и норовит выбить из меня нытье, но тут он смягчился:

– Не переживай, я все улажу.

– Как?

– Ну, раз шарик в него попал, выйти он может только одним путем. Будем проверять его подгузник.

Я в ужасе уставился на него, а Хэмиш засмеялся: смех у него густой из-за курения, почти как у Мэтти, хотя ему всего шестнадцать, а Мэтти старая развалина.

– Как же заставить его выйти? – спросил я, следуя по пятам за братом, словно собачонка.

Он открыл холодильник, просмотрел содержимое и закрыл, ничего не найдя. Побарабанил пальцами по кухонному столику, оглядел тесную кухоньку, видно было, как он думает, как работает на полную его мозг. Я чуть не усрался, но Хэмиш в своей стихии. Он обожает проблемы, он настолько их любит, что и мою проблему готов сделать своей. Ему нравится искать выход, нравится, что отсчет уже пошел и, если ничего не придумать, очень скоро наша жизнь превратится в ад. Чаще всего ему не удается найти решение: пытаясь как-то вывернуться, он только еще хуже все запутывает. Но таков Хэмиш, и больше мне сейчас никто не поможет. От меня толку, что быку от титек, так он мне и сказал.

Взгляд Хэмиша остановился на только что испеченном ржаном каравае: мама положила его остывать на подносе, накрыв клетчатой красно-белой скатеркой. Только этим утром испекла, дом весь пропитан вкусным ароматом.

– Мама не велела его трогать.

– А еще она сказала глаз не спускать с Бобби.

Это правда. Снова нервная дрожь в желудке, видение тернового венца на голове и как я несу по длинной улице крест – хотя мама, наверное, предпочтет нагрузить меня ворохом грязного белья. Это ее крест, твердит она постоянно. Стирка и шесть пацанов.

– На случай если хлеб не подействует, – добавил Хэмиш и вытащил из шкапчика бутылку касторового масла, приготовил ложку. – Давай, Бобби, – пропел он, вертя караваем у Бобби перед носом. Глаза у Бобби загорелись.

Прошел час, я дважды переменил подгузник – в жизни не видал такого жидкого дерьма, – а лисы нет как нет.

– Тебе-таки удалось загнать лису в ловушку, да, малыш? – обращается Хэмиш к Бобби и хохочет истерически.

Он сунул Бобби еще кусок хлеба и ложку касторки. Бобби говорит: «Нет». И он прав, я его за это винить не стану. Я даже, пожалуй, рад, я уже по локоть в закаканных махровых тряпках, буквально. Не знаю, как мама их стирает, я-то вскипятил воду и долго их вымачивал, как только мог, руки обжег, и еще тер одним концом о другой, чтобы пятна отошли, но ничего не получилось. И все равно мне полегче, чем Хэмишу, который сначала разгребает все дерьмо ножом, прежде чем вручить мне подгузник. Не будь я в таком ужасе, что мама придет и увидит – хлеб истребили, а в кишках ее драгоценного малютки застрял мраморный шарик, – я бы тоже смеялся вместе с Хэмишем.

Хэмиш проверял третий грязный подгузник, и тут в двери заскрежетал ключ. Мама вернулась, мне конец. Сердце глухо забилось, глотку перехватило так, словно и впрямь смерть пришла.

– Скорее! – шепнул я, и Хэмиш быстрее заработал ножом.

Входная дверь распахнулась. Хэмиш удрал через заднюю дверь, а мама с Энгюсом уставились на Бобби, голого ниже пояса, который кувыркался на полу, сшибая жирными ножками все, что подвернется.

– Все в порядке? – спросила мама, входя.

Энгюс шел за ней по пятам, притихший, одна щека красная, должно быть, от пощечины, руки в карманах, плечи поникли, сразу видно, здорово она ему влепила. Братец покосился на меня с подозрением. Хэмиш на заднем дворе проверял очередную порцию дерьма – по крайней мере, я надеялся, что он там, хотя отчасти подозревал, что он уже несется через калитку в проулок, предоставив мне самому разбираться с этим дерьмом.

На лице Энгюса расплывается ухмылка: он догадался, что у меня рыльце в пушку, наверное, вид у меня виноватый. Он счастлив будет, если и я на чем-нибудь попадусь. Пусть и мне влетит, а от него мама хоть на время отстанет. Он ухмыляется все шире.

– Что натворил, Клоп?

– Что с ним? – спрашивает мама, глядя на Бобби, который никак не перестанет кувыркаться. Потом она замечает пустое блюдо из-под хлеба, крошки повсюду, а за окном я вижу Хэмиша – рука торжествующе взметнулась вверх, между изгвазданными пальцами зажат белый шарик, на лице счастливая улыбка. И я тоже счастлив, но теперь придется отвечать за хлеб.

– Бобби лишнего съел, прости, пожалуйста, – поспешно говорю я. Слишком поспешно. Мама догадывается: за этим скрывается что-то еще.

– Мой каравай! – восклицает она. – Я к чаю пекла! Я тебе говорила не трогать! – вопит она.

Возле меня откуда ни возьмись появляется Хэмиш. Роняет мне в руки грязную махрушку, сует шарик мне в карман, у самого руки уже чистые.

– Извини, ма, это я виноват, – вступается он. – Я отпустил ненадолго Фергюса, обещал присмотреть за Бобби и не уследил – он хлеб слопал. Ты же знаешь, как он быстро все в рот сует.

И, пока мама, отвернувшись от нас, горестно созерцает обглоданный каравай, Хэмиш весело мне подмигивает.

Мама во весь голос ругает Хэмиша, а я все порываюсь перебить ее, признаться, но так и не решаюсь. Не могу. Зайчишка-трусишка.

Потом мама заметила подгузник у меня в руках и котел с другими махрушками, и ее лицо изменилось – что это значило, я не мог понять.

– Сколько подгузников ты ему поменял?

– Три, – испуганно ответил я.

К моему удивлению, она рассмеялась.

– Ох, Фергюс! – еле выговорила она, хохоча, взъерошила мне волосы и поцеловала в макушку. Потом она пошла в туалет сливать какашки и все

смеялась, а Хэмиш грустно глядел ей вслед.

Потом, когда все уже спали, я спросил его, почему он сделал это за меня, помог, а потом еще и взял на себя вину.

– Я не для тебя это сделал, а для нее. Пусть хоть в тебе не разочаруется, как разочаровалась во мне.

И насчет того, как Хэмиш умен, мама тоже права: он смерил меня оценивающим взглядом и сказал: «Теперь ты мой должник». Я понимал, он с меня свое получит. Не знаю, спланировал ли он заранее то, что собирался проделать вместе со мной, и не потому ли взял на себя вину за съеденный каравай, чтобы я уже не мог отвертеться и вынужден был выполнить его просьбу, или же это он сообразил задним числом. Но так или иначе, начались наши приключения с шариками – вернее, злоключения, – и я бы все равно пошел с ним хоть на край света, даже не будь этой истории с ржаным караваем.

Таким был мой брат Хэмиш: готов хоть по уши в дерьмо влезть, лишь бы спасти мою задницу.

8

«Яйца в кустах»

Три часа ночи, мы с Хэмишем куда-то идем. Он и раньше нередко будил меня по ночам, но теперь все иначе: он не толкает меня, не пинает, не зажимает рукой мне рот, чтобы я не вскрикнул в испуге, как бывало, когда он поднимал меня среди ночи. Теперь он бросает камешки в окно, пока я не услышу. Он уже несколько месяцев не живет с нами, мама его прогнала. Узнала, что он работает на Цирюльника, но прогнала она его не за это. Он с Мэтти здорово подрался; пока они лупили друг друга, весь дом разнесли. Хэмиш стукнул Мэтти головой о наш лучший буфет, осколки разлетелись во все стороны, Мэтти потом швы накладывали. Томми описался со страху, пусть он и говорит, что ничего подобного.

Итак, Хэмиш дома больше не живет. Ему уже двадцать один, говорит мама, в любом случае пора жить отдельно, обзавестись семьей и работой. Но, хотя он дома не живет, мы с ним часто видимся. Обманывать игроков, притворяясь новичком в марблс, я больше не могу, мне уже пятнадцать – и всем известно, что я лучший игрок в наших местах ну или один из двух лучших – тут новенький появился, Питер Лэкки. На нас специально приходят посмотреть, когда мы играем друг против друга. Цирюльник устраивает матчи по ночам, у себя в парикмахерской. Он любит развлекать своих – у него позади парикмахерского зала, в его офисе, часто бывают собрания, и, пока там что-то обсуждают, он обеспечивает и выпивку, и курево, и карты, и марблс, и женщин – что хотите. Хэмиш говорит, Цирюльник и на гонки улиток монету поставил бы. За спиной у него говорит, разумеется. Никто не ссорится с Цирюльником, а то поссоришься, придешь постричься-побриться и целым не уйдешь.

Цирюльник платит мне за каждый матч несколько шиллингов, почти все деньги забирает Хэмиш. Как с теми леденцами, когда мне было десять, – я бы и тогда согласился играть даром, и сейчас могу. Зрители делают на нас ставки, Хэмиш за букмекера. Вряд ли кто рискнет не расплатиться, Хэмиша все уважают, ведь он у Цирюльника правая рука, а кто не заплатит, тому не поздоровится.

Но сегодня я проснулся сам. Вылез в проулок позади дома и застал Хэмиша как раз в тот момент, когда он, согнувшись, подбирал мелкую гальку.
Я подкрался и пнул его в зад – он подпрыгнул так, словно Цирюльник приставил ему к горлу раскаленный нож.

Я чуть не уделался от смеха.

– Куда это ты собрался? – спросил он. Пытался сделать вид, будто не испугался, но зрачки расширились так, что глаза чернотой залило.

– Не твое дело.

– Вон оно как! – ухмыльнулся Хэмиш. – Я слыхал, у тебя с одной из девочек Салливан далеко зашло – с Сарой вроде?

– Может быть, и так.

Удивительное дело, как Хэмиш всегда все про всех знает. Я никому о Саре не рассказывал, держал все при себе, не то чтоб было что особенно скрывать, она бережет себя до свадьбы, так мне и сказала. Очень милая, но сегодня я был не с ней. Я встречался с ее сестрой Энни, совсем не такой милой. Она на два года старше, и она дала мне то, в чем младшая сестричка отказывала. Ноги у меня после свидания еще подгибались, но я чувствовал себя как никогда сильным, как настоящий мужчина, все могу. И это небезопасное состояние, если по пути тебе встречается Хэмиш.

Жестом он велит мне следовать за ним, а куда и зачем – не объясняет. Наверное, организовал где-нибудь игру в марблс с тотализатором, обычно в этом дело. Но нет, на этот раз предстоит нанести визит ребятишкам, которые тянут с долгами. Мы подошли к школе, перебрались сзади через стену и таким образом без проблем оказались возле общежития. Дорогу Хэмиш знал, но, протискиваясь в окно, я нечаянно столкнул банку с шариками, они с грохотом раскатились во все стороны. Я думал, Хэмиш мне врежет, а он чуть не уписался от смеха. К счастью, никто из отцов не проснулся: одно дело – расшуметься днем в школе и совсем другое – ночью, когда тебя тут и быть не должно. Хэмиш все хохочет, поскальзываясь на шариках, и вдруг я замечаю, что от него тянет выпивкой, и мне становится малость не по себе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/sesiliya-ahern/igra-v-marbls

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить